

Ф.Н. ГЛИНКА

Опыты аллегорий,
или иносказательных описаний,
в стихах и в прозе

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ОПЫТЫ
АЛЛЕГОРІЙ
ИЛИ
ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХЪ ОПИСАНІЙ,
ВЪ СТИХАХЪ И ВЪ ПРОЗѢ.

Соч. Θеодора Глинки.

„. . . . Они не могутъ читать въ моемъ сердцѣ, но прочтутъ мою книгу.“
(Монтань.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ Военной Типографіи Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
1826.

Ф. Н. ГЛИНКА

Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе

Москва

2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рус=Рус)1-5
Г54

Составитель,
автор статьи и примечаний
Ю.Б. Орлицкий

В оформлении использованы
рисунки из рукописей Ф.Н. Глинки
(Государственный архив Тверской области)

Художник
Михаил Гуров

ISBN 978-5-7281-1060-6

Содержание

Опыты иносказательных описаний в стихах

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЕНО

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи, до выпуска изъ Типографіи, представлены были семь экземпляровъ сей книги въ С.-Петербургскій Цензурный Комитетъ, для препровожденія куда слѣдуетъ, на основаніи узаконеній. Санктпетербургъ. Сентября 1825 года.

Цензоръ Александръ Бируковъ.

Милостивая Государыня!

В огромной картине творения более всего привлекает внимание наше человек со стороны его положения в обществе и особенно со стороны его *природы нравственной,* в которой, собственно, заключается великая тайна нашего счастия. Мне всегда весело было читать о людях в состоянии дикой независимости. Я любил освежать воображение, переносясь в леса необозримые, на берега озер пустынных, ища повсюду следов первобытного порядка мира. Я видел людей и в жизни искусственной, ими самими изобретенной, в тесноте их пыльных улиц, угарных городов и в палящем дыхании страстей, иссушающих первородную свежесть души. На пространстве от Волги до Сены, от Дуная до берегов Северных морей мне случилось знакомиться с человеком в палатах и в хижинах, в тишине кабинета и в шумной грозе во-

инского стана. И вот что было плодом моих любимых наблюдений о людях. Суетная привязанность к мелочам, любовь к видимости, стремление к наружному блеску и суетливые заботы житейские слишком много отвлекают *Европейского человека* от тех спокойных размышлений, которые постепенно приводят за собою мудрость и счастие.

Нельзя сказать, чтобы люди вовсе не любили истины, но скучая всем, что представляет вид поучительности, и не имея никакого понятия о высоких наслаждениях уединенной и созерцательной жизни, они охотнее предаются ветреному легкомыслию, увлекательной рассеянности, ловя минуту, забывая вечность. Притом же истина не всегда довольно ощутительна, чтоб могла быть довольно постигнута. А между тем, от поколения до поколения, с ходом ума, с развитием гражданственности, умножается кипучее движение страстей, пожеланий, суетливой волнуемости во внешней жизни и более и более забываются те непреложные начала, на которых зиждется спокойное внутреннее счастие человека. В таком положении вещей, кажется, настоит необходимость сколько можно чаще останавливать внимание людей на высоких истинах веры и нравственности. Но как сие сделать без того, чтобы им не наскучить? Я всегда об этом думал и полагал, что если сами люди неохотно подаются к истинам, то нехудо бы подвести *ряд истин* к людям и показать их так ясно, как показывают беспечным зрителям, по-

средством оптического стекла, ряд красивых явлений неосязаемых, но видимых и памятных. Не знаю, успел ли я в своем намерении; но мне хотелось составить род нравственной фантасмагории. Я старался облечь в одежду Поэзии сокровеннейшие ощущения, высшие истины и, дав им, по возможности, цель и существенность, приблизить их к людям в виде более осязаемом. *Надежда, Совесть, мысль о духовности человека, о его бессмертии,* сия утешительная мысль, столь справедливо названная *приданым души человеческой*, и, наконец, самая *Истина* получили как бы некоторую телесность и сделались более ощутительными в тех разновидных описаниях, где заманчивость загадки[1] соединена с пользою поучительности.

Вот цель предприятия! Желал бы, чтоб исполнение хотя несколько соответствовало намерению! Впрочем, здесь предлагается только первый опыт, и Автор не смеет придавать ему никакой особенной важности. Теперь, по совету особ, достойных уважения, предпринял я соединить все мои иносказательные описания вместе и выдать их в свет. Я хотел было назвать сие собрание аллегорий *нездешними цветами*.

---

[1] Само по себе разумеется, что если в заглавии каждой из сих аллегорий выставить ее значение, то занимательность исчезнет. Но полагать надобно, что всякому читателю приятнее будет находить отгадку самому или прочитывать ее в конце пиесы.

Это заглавие показалось несколько странным; но едва ли оно несправедливо, ибо высокие истины и красоты отвлеченной Поэзии цветут, конечно, не на здешних долинах суеты и горестей, где семена, засеваемые смертию, созревают при зное страстей и пожинаются тлением!

После сего я думал: кому бы посвятить книжку свою? Но тут мне вспомянулось выражение одного восточного поэта: «Чувство благодарности благовонно, как полная роза, и сладостно, как спелый виноград». Мне захотелось испытать справедливость сего выражения, и – *память сердца*[2] указала – на Вас! Так, Милостивая Государыня! Ваше благосклонное внимание в таком периоде моей жизни, когда всякий знак дружелюбия приносил мне необыкновенное утешение, налагает на меня обязанность засвидетельствовать, каким-нибудь видимым знаком, мою к Вам признательность. Давно ли еще Вы доставили мне возможность пользоваться выгодами лучшего общества и красотами природы, сей неизменной утешительницы человека? Притом же мне всегда казалось, что Вы сами как будто одно из тех эфирных существ, которых изображения поместил я в моих описаниях. Благое Провидение даровало Вам все: просвещенный разум, красоту, прелестное детское сердце, душу возвышенную и, ка-

[2] Известно, что благодарность называют памятью сердца.

жется, отпустило Вас только погостить к людям, чтоб порадовать собою супруга, единственного по его нравственным качествам; достойную родительницу; добрых братьев; любезных сестер; толпы бедных, привыкших любить Вас как существо, их утешающее; и всех, кто счастлив Вашею милою дружбою. Блестящий, шумный, суетливый призрак, называемый миром, напрасно трудится сделать Вас своею пленницею: душа Ваша сохранила слишком живую память о лучшей стороне, и Вы спокойно взираете на все мишурные представления земные.

Итак, примите мою книжку: в ней мало ума, мало искусственности; но Вы найдете в ней чувства неподдельные, даже необработанные: их охладила мертвая буква, но их поймет чувствительное сердце. Люди имеют богатый язык нужд, язык страстей несколько беднее; но у них совсем почти нет языка высоких духовных ощущений и таких неуловимых истин, с их мелькающими оттенками, кои справедливо сравнивают с теми таинственными сновидениями, которые мы видим, помним, но которых рассказать не умеем.

ОПЫТЫ
ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ
ОПИСАНІЙ
ВЪ ПРОЗѢ.

Опыты иносказательных описаний в прозе

Оглавление

I
Знакомая незнакомка

Великолепно освещен был пышный дом; бронзы и мраморы дышали жизнию, чистые алебастровые вазы сияли томно, как звезды за дымом серебряных облаков; в хрусталях играли светлые радуги. – Они съехались, графы, князья и бароны, и за каждым свои льстецы и поклонники. Входили и прохаживались, мужчины и женщины, молодые и старые. – Все было пышность и великолепие. Перлы, алмазы и яхонты горели в волосах и в уборах женщин. Смотря внимательно на лица, казалось, тут можно было увидеть все страсти в лицах. – Било одиннадцать. Все собрались, и все как будто кого-то недоставало!.. Во всех углах слышно было сожаление, зачем *ее* нет, зачем *ее* так давно не видно в свете?.. Много о ней говорили. Вельможи решительно уверяли, что она у них бывалая гостья, и откровенные политики, угодливые художники, модные поэты и светские философы твердили, что она им давняя знакомая.

Наконец она вошла, тихо, без блеска, без шума... Простое белое платье с лиловым прибором – вот ее одежда! Прекрасный рост, легкая, свободная поступь, гибкий стан, высокая стройная шея, глаза небесного цвета и с спокойным сиянием летнего неба, лицо не полное, не ярко-румяное, но такое, которому румянец, изредка вспыхнув, придает неизъяснимую прелесть, и тихая улыбка – вот черты ее красоты! –

Если нет здесь полного портрета прекрасной, то это потому, что она прекрасна не по-земному. – Все, вероятно, ее ожидали, ибо о ней говорили; но она вошла – и никто не узнал ее!.. Это может быть и потому, что всякий ожидал увидеть ее в большом блеске, с великолепием и шумом... Она вошла как к своим, свободно и ласково; но ее встретили как чужую, холодно и с принужденностию. Хозяин сделал гостье учтивый поклон и занялся другими... Толпа смотрела на нее с каким-то глупым равнодушием, как будто и не замечала ее!.. Только гордый временщик и любимцы фортуны, искосясь, поглядывали на незнакомую: они, казалось, узнавали в ней ту, именем которой заставляли их не раз краснеться пред светом. – Дети, по какому-то темному предчувствию, с ласкою подходили к приветливой гостье и целовали ее прекрасные руки, а приветливая целовала их в уста и в очи.

Наконец она, как и все, смешалась с шумною толпою, и никто более об ней не заботился. Один только юноша пылкими черными глазами следил ее долго и пристально, как будто предчувствуя в ней будущую владычицу его жребия, для которой никогда не пощадит он ни трудов, ни покоя, ни лучших радостей жизни. По тайному влечению сердца, он уже готов был узнать неузнанную и, если б было можно, положить к ногам ее свою чистую юношескую душу... Но светское приличие удержало, а легкокрылые забавы увлекли и закружили его в шумном волнении. – Между тем незнакомка, проходя ряд великолеп-

ных комнат, миновала бюст Вольтера, но с живым чувством взглянула на Сократа и с задумчивостию на философа Женевского. И вот неузнанная все заметила, а сама осталась незамеченною и тихо удалилась, как тихо вошла.

После (был слух), минуя замки и палаты, остановилась она в далекой улице и посетила убогий домик, где над бледною лампадою трудился бледный человек. Высокие творения философов, единственное сокровище в его низком домике, и старые свитки – вот его собеседники, а молодая Муза – его утешительница!.. В сердце человеческом, на аспидной доске и в толстых фолиантах искал он той, которой небесный образ явился и очаровал его некогда в его юношеском сне. – И вдруг она вошла! – И уединенный узнал не узнанную светом. Они кинулись в объятия друг к другу с жаром любви и юности – и небесная не покидала верного до конца его земного странствия.

II
Незнакомый знакомец

Великолепное освещение сияло из растворенных окон. Длинные лучи живописно отражались в сумраке росистой зелени ароматного сада. Прекрасно взошла, весело любовалась собою в серебряном зеркале реки и тихо закатилась молодая луна; но никто не заметил ее! Восхити-

тельно пел за ближним холмом соловей, – никто не слыхал его! Гости заняты были картами и бальною музыкою. Уже приметно колебались, от приятной усталости, белые груди красавиц; ленивее двигались смычки; тусклее сияли давно зажженные свечи, за карточными столами рассчитывались, а на других столиках, в ближней зале, появились вкусные блюда. – Ночь к рассвету, а пир к концу; зазвенели стаканы, закипело шампанское... и *он* вошел. – Все было его. Скорая, дерзкая походка, видный рост, что-то особенное в приемах и чертах лица... Я не умею описать их: они беспрестанно изменялись. – Он подошел к хозяину, к хозяйке, как свой, и проворно пошел искать знакомых между гостей. Того за руку, тому поклон; другому взгляд значительный, слово полупонятное. Знатные гости, маркизы и бароны, платили пришельцу за привет приветом; для него напенивали бокалы, ему подносили лучшие блюда. Дамы потчевали его фруктами. Только дети, по какому-то невольному чувству, чуждались для них неприветного гостя: он еще не был им знаком. Но ему не до детей! Он щедро рассыпал поклоны и приветствия вельможам и дамам, и светские девушки твердили в один голос: «Как он мил!» Но кто этот *он*? – спросил один гость у другого, другой у третьего, и так все далее. На все вопросы был один ответ: «Не знаем!»... Никто не хотел сказать ни места – *где*, ни времени – *когда* с ним познакомился. Мы видим его всякий день на бульварах, в театре; он вхож в дома... но никто не называл его

настоящим именем, как будто остерегаясь открыть, что его знает; а между тем всякий с ласкою ему кланялся, потому что все делали то же. Начались опять танцы: он приправлял их какою-то особою ловкостию; все ласкались к незнакомому знакомцу. Он сеял огонь и заразу в словах и взглядах. В стороне сидела одна гостья, не обращая на себя особого внимания: не первая по молодости, не первая по красоте, она по всему была единственная. Стройный рост, грудь спокойная, как дитя под пеленою колыбельною, темные глаза, в которых светилось чувство ясной души, в которых часто сверкали чистые слезы любви и участия; лицо, на которое так же весело было смотреть, как слушать о благородном подвиге, как утешаться сиянием весенней радуги: вот черты красоты, не для всех прекрасной! Многие считали ее простою, деревенскою женщиною; но зато немногие называли ее несравненною. Пред ее непринужденною скромностию увядали пылкие желания и расцветало сердце новою, святою жизнию. В порывах дерзкой вольности никем не названный незнакомец обратился в ту сторону, где сидела прелестная. Его беглый, горячий взгляд встретился с ее постоянным взором: так вспыхнувший над гнилым болотом огонь встречается с сиянием занимающейся денницы!.. Смятенный, как узнанный преступник, остался он нем и неподвижен; казалось, очарование его зависело от одной минуты. Обличенный, он потерял свою дерзость и пошел с поникшей головою, как хищник с неудачной ловитвы.

Пригожий молодой человек, наследник богатого имения (у которого сердце было – книга с белыми листами, а лицо – начатый абрис какой-то физиогномии), большими ясными глазами, которые, однако ж, ничего не говорили, смотрел на продолжение пира и терялся в каких-то неясных мечтаниях... Он был в таком возрасте, когда люди приходят к первому распутию жизни. Учитель сказывал ему, что есть две дороги: одна к добродетели, другая к пороку... Ты будешь мой! – сказал с жаром незнакомец; схватил его за руку и повел в дальние комнаты. – Они дружески расхаживали, напенивали бокалы и с каким-то беспокойным чувством смотрели на картины и бюсты. Угрюмый Катон не обратил их внимания; с презрительною улыбкою указал незнакомец на бюст Фенелона и с жаром ему свойственного красноречия порицал равнодушие молодого человека при взгляде на лицо прелестной Аспазии! – В суете общего разъезда, никем не замеченный, он умчал его с собою... И после (был слух) неосторожные родители плакали о судьбе потерянного сына.

III
Неузнанная

В древней Пальмире, где теперь пустынные бури движут песчаные моря, в то время, когда великолепный град сей увядал в самом

цвете своего мнимого величия, когда наружный блеск видимости явно противоречил с тайными предчувствиями сердец, когда молвы, гадания и слухи являлись по домам, как невидимые вестники... вдруг показалась многим и во многих местах – *она.* – Все чувствовали присутствие ее, никто ее не узнавал. Иные называли ее духом, другие мечтою, иные каким-то тайным соглядатаем. Неузнанная в чертогах, гонимая во граде, она удалилась.

Буря шумела. Ясные молнии, как огненные ручьи, извиваясь, пробегали по черному аравийскому небу. Зыбкие поля, скрепленные искусством, взламывались вихрем, и стройные пальмовые рощи трепетали... При большой дороге лежал, раскинувшись под деревом, человек. Молнии освещали глубокое отчаяние на оливковом лице его; черные кудрявые волосы стояли щетиною; грудь холмилась... Мера преступления его исполнилась, душа требовала очищения. Тут явилась к нему неузнанная. Среди бури, колебавшей природу, она была спокойна и ласкова, как светлое чувство детской радости, легка, как дух, стройна, как пальма, в белой одежде, в венке из свежей зелени, с златою чашей в руках. Безмолвно остановилась она пред ним, и глаза его, сверкающие, как яркие угли, встретились с ее тихими взорами. Так иногда красное губительное пламя, вылетающее из жерла кипящего вулкана, встречается с ласковым сиянием стоящей над ним луны! – Он долго в нее всматривался, и узнал ее, и понял ее безмолвие. «Подай, я согласен!» –

И, протянув жилистую руку, которой силу чувствовали дикие кони пустыни, он с детскою покорностию принял сосуд и выпил все до дна. Горько, как полынь, растущая на развалинах, показалось ему питие. Но он стерпел. Огонь пробежал по всем составам его существа. Все старое сгорало. Но мало-помалу буря уступила место порядку, и обновление следовало за пожаром. Сердце его таяло, и застарелые преступления изливались слезами и с тяжкими вздохами вылетали из холмистой груди его. Сила уступала гармонии; мятеж заменялся тишиною, и медленно, медленно на уста, испившие горечь, выступала сладость неописанная. Что-то небывалое поселилось в груди его. Живые сладкие утешения, светлея постепенно в душе, озаряли ее новым рассветом, новым свежим утром ясного бытия, неизвестного в кипящем борении страстей и в темноте холодных сомнений. Ему казалось, что его принимают опять в семейство людей, от которого он был отброшен, и образ человека для него становился почтеннее. Он начал чувствовать удовольствие – быть на земле. Его дни стали веселы, как праздники, и ночи тихи, и сновидения усладительны! Он не видал уже более ни крови, ни ножей, ни посинелых уст умирающего. Новый мир, новое небо представлялись душе его. Часто осенял ее теплый ароматный дух, веявший из какого-то неизвестного края. Младые девы, в белейших воздушных одеждах, усеянных ясными искрами из желтого злата, в светлом хоре, стройно и медленно колебались пред ним на зыбких пер-

ламутровых облаках. Иногда видал он, в неизвестной отдаленности, неведомую очаровательную страну, где существа легкие, как наши мысли, плавали (так весело, как надежды в душе человека) в каком-то неизъяснимо прелестном светло-фиолетовом сиянии. Оттоле веяло обновлением, жизнию, духовною прохладой, свежим благодатным успокоением и сладким благовонием бессмертия. Так занималась заря благоденствия в душе обновленного. Прошедшее темнело за ним, как грозная ночь; впереди разгорался яснее и яснее тихий, приветливый день.

Прошли годы и годы... На часах судьбы пробил таинственный час, свершился жребий Пальмиры, и в запустелых окрестностях великого града видали почтенного эмира, белобрадого старца, когда он, обращаясь лицом к стране Востока, сладкою беседой поучал многочисленное племя свое чистоте и нравственности. – Это был он, принявший сосуд из рук неузнанной. Но кто же была *она*? Предание говорит, что он сам называл ее *совестию*, а иногда и другим именем, похожим на первое.

IV
Загадка

Прекрасная невеста, высокой породы, обручилась с милым женихом на своей родине. «Но тебе нужно испытание: будешь ли и в раз-

луке верна обрученному?» – так сказал отец – и невесту снарядили в чужой и далекий край. Ей поднесли золотой кубок с питием забвения. Выпила, уснула. Сила, подобная притяжению магнита, с быстротою молнии увлекла усыпленную. – Еще не обсохла прощальная слеза, как прелестная пробудилась под другими небесами, в каком-то новом незнакомом мире. – Искусный мастер сделал ей подвижную темницу. У нее отняли вольность; но оставили ей волю. И дано ей пять приставников, которые были ее слугами и стражами, и единственными проводниками между нею и всем ее окружающим. – И лживы, по природе, сии пять приставников. От отца же был такой завет: благородная узница не возвратит свободы своей, доколе ясно и верно не узнает и не поймет, где и для чего она находится; и было другое условие: тогда освободится заключенная, когда темница ее, которая тает от времени, как лед от лучей солнечных, сама собою раскроется. И тогда, если останется еще в ней память о прежнем: о милой родине далекой, о женихе, который родился прежде, чем зародилось время, но был свеж и молод, как заря утренняя; если не забудет своего высокого и светлого происхождения, – тогда опять, как будто от сна пробужденная, она очутится с своими милыми ближними, в своей отчизне дальней. Но если забудет все прежнее, былое; если полюбит страну испытания, то надолго останется там, где есть и где ей быть самой понравилось.

Но, бедная узница, от кого узнать ей: и *где* и *зачем* она? – Питие забвения помрачило ее светлое существо. Сохранилось у ней темное воспоминание, что где-то была она прежде, и кого-то оставила в иной стороне. – Долго она только смотрела на окружавший ее мир и ничего еще не видала, кроме самой себя. Все ее пугало, все приводило в изумление. Наконец стала различать в слитном смешении предметов существа, к ней ближайшие. Но с какою печалию заметила, что все их ласки, все попечения обращались только к поддержанию темницы ее! и тверже день ото дня становилась темница сия, и крепче цепь, привязывавшая ее к бытию, ей чуждому.

Настало урочное время; пленница ощутила власть над своими пятью приставниками и поспешила, чтоб исполнить завет, ей памятный: узнавать через них, где находится. Рассылает всех и в высоту, и в глубину, и вдаль, и по всем направлениям. Скоролетные разлетаются. – Но, неверные в своих наблюдениях и жадные только к собственному наслаждению, они приносят ей вести все ложные. Должно непременно поверять одного другим, чтоб узнать истину. А между тем в одной с нею храмине живут жилицы, лукавые волшебницы. Они знакомятся с нею и от раннего утра до позднего вечера нашептывают ей свои затейливые рассказы о прелестях той стороны, куда она зазвана, как гостья на веселый пир. Ей говорят о почестях, о славе, о выгодах, о богатстве, о наслаждении.

Невинная ничего не разумеет; а уразумев, от всего отказывается, ибо способы к достижению предлагаемого возмущают ее первородную чистоту. «Нет, – говорит пленная красавица, – не это дорого в нашей милой стороне!» Но где ж эта милая сторона? Она сама ничего о ней сказать не может. Волшебницы смеются над ее мечтами, называют странными ее понятия о бывшем и будущем, о темном и неверном *будущем*, и зазывают пристыженную на шумное празднество *настоящего*. – Их посол искусный живописец. – Он яркими красками и роскошною кистию изображает ей картины веселой жизни, забавы и наслаждения... Ничто не утешает унылую: она боится отстать от того, чего ни забыть, ни припомнить не может, что иногда бывает ей очень ясно и чего объяснить не в состоянии. Но ее подкрепляет неведомый утешитель. – Часто, в тишине ночи, когда засыпают зоркие волшебницы, подлетает кто-то в луче утренней зари и шепчет пленнице: «Не унывай!» И сей голос, мимолетный, как все прекрасное в жизни, напоминает ей о том неизменном блаженстве, которым наслаждалась она некогда. – *Прелестное* в музыке, *высокое* в поэзии, *изящное* в искусствах называла она гостьми из своей родины, и радовалась им, как радуются соотечественникам на чужой стороне; но невольные сравнения помрачали минутную радость. «Здесь, – говорила она, – велят мне ненавидеть, а там (я живо помню) общий закон был – любить. Там вечная весна любви, тут всегдашний холод себя-

любия. Там (мне это памятно) всякий понимал мысли и чувства мои прямо, как понимают здесь цветы и звуки. Тут сколько нужно грубых орудий, сколько мертвых букв и темных оборотов для выражения одного живого чувства, одной светлой мысли!.. Мне помнится, я жила там, где нет ни вчера, ни завтра, где всегда один продолжительный невечереющий день, никогда не сменяемый ночию. – Здесь так высоко ценят время, чтобы делать из него такое низкое употребление! Ах, если б они знали, что целые веки исчезают в одной минуте созерцания того, кого я некогда видала так близко, и от кого теперь так удалена стала».

Она любит картины природы и с любопытством смотрит на величественное течение бури, когда кипящее море силится выхлынуть из гранитных берегов и леса со скрипом ложатся под тяжкою стопою незримого исполина воздушного. – Но ей более нравятся тихие вечера, когда весна, как молодая заботливая мать, дышит ароматом и жизнию над колыбелию пробуждающейся природы; когда каждый цветок осыпан алмазами росы и в каждой капле зыблется полная луна или отражается подобие одной из звезд небесных... «Ах! сия тишина, – восклицает она, – напоминает мне о моем отечестве: оттоле истекает всякая тишина, там вечно сияет мир ненарушимый».

Так тоскует тоскою таинственною невеста прекрасная о своем возлюбленном. Она сравнивает себя с светлым лучом, погружен-

ным в мутные туманы, и старается не утратить своей ясности.

Уже познала наконец страну своего заключения и все ничтожество сокровищ ее, и бодрее сражается с волшебницами, и не верит слугам и приставникам. Между ними и собою, или, лучше сказать, между собою и собою поставила она дух Отца своего – истину. С тех пор обманы прекратились, ибо сквозь врата истины не проходит ничто ложное. Тут ей открылась ее таинственная судьба, ее высокое назначение. Но срок неволи не протек. Впечатление воспоминания о прежнем отечестве столько еще было сильно, что она не могла его не чувствовать; но сама она в неволе так ослабела, что не могла уже расторгнуть цепи своей. В таком борении оставалась заключенная – и жизнь стонала в оковах вещества.

Но время наступает... И спокойно смотрит обрадованная, как тончает темница ее, – и, бодрее сражаясь с волшебницами, смеется над их тоскливым сомнением и весело восклицает: «Он близок, час моей свободы!»

И вот уже приметно дряхлеет темница; уже шатаются крепкие связи... И пленница становится как будто умнее, ибо стала – опытнее. У нее, кажется, вырастают крылья! «Я не отстала еще от милого, – говорит верная, – тоска по нем соединяет меня с ним. И скоро... скоро... я полечу, полечу, как голубица свободная, в его объятия сладкие, в мое отечество прекрасное... Там будет награда верности за любовь и терпение».

V
Страшная гостья

Дедушка! Отчего бываешь ты часто задумчив и так печален, так уныл?..

ДЕД

Ах! дитя, скоро придет ко мне *страшная гостья*. И уведет меня далеко отсюда...

ВНУК

А какова она, дедушка, собою?

ДЕД

Ах! страшная, страшная! Костяной остов: на ней нет ни одежды, ни кожи; на плечах только череп безвласый, и зубы... Она ходит всегда с ужасною косою... Ах! дитя, от ее холодной улыбки замирает сердце; в ее тесных объятиях вся кровь застывает.

Внук, доброе дитя, всякий день смотрел и прислушивался, не придет ли *страшная*... Но прошла туманная осень; леса и дубравы, с унылым воем, пороняли свои желтые листья; луга завяли; земля намокла и застыла, а *страшная гостья* не являлась. – Пришла зима и застлала долины мягкими снегами: она убирала леса и кустарники в хрустальные зеркаловидные привески; часто на рассвете морозного утра посыпала поля алмазными искрами, и, как будто хитрою кистию, рисовала на стеклах узоры кудрявые... А *страшная* все не приходила. –

Снежные бугры, подтаяв снизу, вдруг обрушились и полились разновидными ручьями, которые шептали днем, и громким говором, в безмолвии яснолунной ночи, извещали природу о близкой весне и свободе. Наконец, Бог знает откуда, слетела ласковая весна; зазеленели, местами, долины; показались подснежники; первые пчелы, еще полусонные, полетели на ароматный запах млечновидной черемухи; взвились жаворонки, роняя с высоты рассыпчатые звуки умильной песни своей; засвистали малиновки, и громкий соловей утешал природу, как влюбленный жених свою прекрасную невесту.

В один роскошный весенний вечер, вместе с лучами зари и с благовонным дыханием лугового ветерка, вдруг вошла в хижину *величавая гостья*, как тихое сновидение... На ней было платье белое и тонкое, как утренний туман; стройный стан опоясан златым поясом; русые волосы, струясь, мешались с легким зеленым покрывалом и на голове сиял чистый золотой венец с свежими незабудками; на ладони правой руки несла она бабочку, которая только что выпорхнула из мертвой оболочки своей к новой жизни, к новому неизвестному ей бытию. *Незнакомая* вошла неожиданно. Не слыхать было походки ее, и двери сами собою пред нею растворились. Она вошла – и заперлась дверь без скрипу... И послышался ласковый голос... Долго разговаривала она со старцем языком неведомым... Наконец тихий шепот

замолк, и *гостьи* не стало. – Внук созвал соседей, и увидели, что дед опочил сном беспробудным... «А где же *страшная?*» – спрашивал внук, с детскою невинностью, всякого... «Для *добрых* (отвечал ему сельский священник) не бывает она никогда *страшною*!..»

VI
Опыт поли-метра

Конь, утомленный путем, наевшись подножного корма, дремлет спокойно; а бодрый ездок подле сидит и взирает, в тишине безмятежныя ночи, на синее небо, на звезды златые... Глядит и – мечтает о своем дальнем пути, о тех городах, о тех царствах, по которым сей путь пролегает. – То же и с нами: с нашим телом и духом: *первое*, чувства насытя сластями сей дольния жизни, спит; а *другой*, лишь улягутся страсти, не дремлет, а смотрит на небо и мыслит о пути неизвестном, далеком...

VII
Непонятный союз

Прелестные серебряные звезды ясно светлели на черном аравийском небе; пустыня вторила звонкое рыканье льва и сердитый рев

тигра; а вольные Арабы Иемии, вблизи древних развалин неизвестного города, спокойно лежали под шатрами своими, слушая сладкие восточные повести и дружелюбно поглаживая именитых коней своих. В одном из шатров старый Абуфар продолжал повествование о необыкновенной встрече из жизни своей. Он говорил: «Итак, путешественники, одушевленные святым усердием, проходили знойные пески, направляя путь к Мекке. Верблюды, *корабли пустыни*, важно тянулись в пестром караване, и красивые кони – друзья Арабов – легко играли под статными метателями джерида. – Между многими уроженцами далеких стран я заметил одну чету и не спускал ее с глаз. *Он* и *она* составляли разительную противоположность, но были соединены тесно. – Он искривлен, тяжел и черен, как уголь; она стройна, как пальма, легка, как благовонный дым алоя или душистой амвры, и бела, как пух лебединый. – Странное несходство и непонятная между обоими связь! *Он* любил питаться грубыми яствами, *она* искала совсем другой пищи. С дикою алчностию пожирал он кровавые мяса и глотал запрещенный напиток... *Она*, напротив, питалась только легким соком, или, лучше сказать, ароматом плодов и растений. И когда все люди и верблюды – с жадностию бросались к пустынным водометам – *она* одна, с непонятным спокойствием, ожидала окончания суеты и, глотая издали одну свежесть, одну легкую алмазную пыль летящих струй, веселилась, как дитя, радужною иг-

рою лучей в водопаде. Никогда не видали ее алчущею, никогда не слыхали жалоб ее на жажду и зной... Смиренно-терпеливая, *она* насыщала глад, говоря о правде, о добродетели, о чистоте, о высокой любви; а жажду утоляла повторением, про себя, сладких стихов Корана. Окутанная легкою, белою, как *она*, одеждою из кисеи тонкой, как воздух, *она* казалась перламутровым облаком, которое пролетает иногда по темно-синему небу нашей Иемии.

Кроткая, как голубица, непорочная, как дева рая, и невинная, как дитя, *она* всегда любила ласкать детей, и казалось, что, будучи с ними, становилась ими, а они *ею*. – *Он*, тучный и неопрятный, спал без просыпу; *она*, чистая, воздушная, проводила и ночи без сна. Когда утренняя звезда зажигалась ясно, как жизнь новорожденного младенца, когда начинал дуть свежий ветерок, гоня перед собою целое море ароматов, свеянных с цветущих долин, тогда вдохновенные дервиши восклицали: “Вот час, в который Господь призирает на землю и громко вопиет, да услышат правду Божию судии и пастыри народов земных”. – Сонливый ничего не слыхал; но *она* благоговейно становилась, в час сей, на колени и молилась, как только может молиться бестелесная. Мы никогда не слыхали разговора *ее*... *Она* не говорила по-нашему. Один только *он* мог понимать язык, которым *она* разговаривала; иногда видали мы, как *она* указывала ему на разные места в Коране. При омовении рук, например, *она* открывала следующий стих: “Правовер-

ный! умывай руки семь раз на день; но помни, что душа твоя должна быть в семьдесят семь раз чище седмирицею умытых рук! Тако угодиши Богу: зане Бог благ и всемогущ". *Безобразный* читал и хмурился. Заходил ли разговор о Божестве и человеке, *она* указывала на то место, где Пророк говорит: "Бог шествует между человеком и его сердцем!" И однажды, когда путешественники рассуждали, как надо жить, *она*, с уверенностию, указала *ему* на известный стих Корана: "Человек! когда ты родился на свет, тогда все радовались, один ты плакал; живи так на свете, чтоб в час смерти твоей все плакали, один бы только ты радовался".

Так наводила *она* его на всякое добро; но *он* не любил ее слушаться. Однако ж один только *он* умел с нею разговаривать, как свой с своим, и на вопрос: "Кто *она*?" всегда отвечал: "*Нездешняя*!" *Он ее* мучил и любил! *Она* много-много от него страдала, однако ж не могла с ним разлучиться.

Наконец достигли Мекки, и *безобразный*, прежде чем зайти в дом молитвы, повлек свою *прекрасную* в дом пира и разврата. Так он и скрылся от наших глаз! Молельщики исполнили долг и весело возвращались в свои города – *безобразный* уже не возвращался!.. После (был слух) пресыщенный чрез меру брашном, *он* где-то уснул и не пробуждался более! Но *она* возвратилась, и как говорят, воспевая веселые песни близким путем в свое далекое отечество». – «Кто же этот *он*? – и кто *она*?» – вопрошали не-

терпеливо юные слушатели – стройный Алманзор и стыдливая Лейла, у которой черные очи сияли влажным огнем... «Уж *он*, конечно, *не дух*; а *она*, верно, *не тело*!» Так сказал старый Абуфар и замолчал.

VIII
Златоперая птичка
(восточная повесть)

«Хорошо ли ты знаешь человеческое сердце?» – спросил однажды юный Сеид престарелого пустынника Абуфара, постигшего высокую науку повелевать духами и читать в тайной книге природы. – Старец безмолвно указал на седую свою голову и сим как будто сказал он: я дожил до седых волос, прилежно наблюдая людей, – как же не знать мне их сердца? «Отчего же оно вечно несчастливо, вечно тревожится: не успеет порадоваться, опять грустит, желает, ищет, находит и опять желает – отчего это все?» – «Оттого, – отвечал хладнокровно старец, – что человек не знает истинной цены вещам. Все вещи в мире можно сравнить с огромною грудою золотых монет, из которых большая часть поддельных». – «Что же хочешь ты из этого вывести?» – возразил нетерпеливый юноша. «А вот что: познай цену вещам, и круг желаний твоих, который равняется теперь, может быть, целому кругу земному, тотчас сде-

лается едва приметным в собственных глазах твоих». – «Неужель это правда, отец мой! и почему же это так?» – «Потому, что истинно дорогих вещей в свете так мало, и они, по благости Вышнего, так близки к человеку, что совсем не нужно придавать желаниям крылья, а стоит только, так сказать, протянуть руку, чтоб достать все, что нам истинно необходимо; поверь мне, вещей из чистого золота очень мало: все почти мишура и позолота, которую мы же сами, и для собственных наших мук, наводим на предметы вожделений наших». – «Это тайна: объясни мне ее, наперсник мудрости!» – «Пусть объяснит тебе *златоперая*, – отвечал старец и указал на розовый кустик, где сидела золотая птичка. – Иди за нею, гляди и примечай! Ровно через сутки будет она опять здесь, и если ты от нее не отстанешь, то мы объяснимся подробнее». Пустынник подал знак, златоперая вспорхнула, и Сеид пошел за нею.

Птичка все далее, далее; а юный путник все вперед, вперед. Наконец мелькнула вдали вода. Птичка порхнула – и уже на том берегу, а Сеид еще на этом. Речка не широка, но глубока. Юноша присел обождать перевозчика, смотрит и... златоперая также присела, и где же? – у изголовья уснувшей красавицы! Сеиду кажется, что он видит одну из райских Гурий; она спала в прелестном беспорядке, резвые зефиры играли с ее покрывалом и одеждою; что повеет ветерок, то новые красы... Сеид увидел полную, белую грудь – и пламень пробежал по

жилам его! Увидел прелестное лицо – и неописанное восхищение проникло до последнего изгиба его сердца! Он весь превратился в зрение: смотрит – и влюбляется; еще смотрит – и не слышит, как сердце его улетает к ногам прелестной; а златоперая все сидит в головах. – Неописанная грусть томит и терзает юношу: он ходит в отчаянии по берегу и ломает руки. Вдруг вдалеке мелькнула тень, показался челнок, и Сеид опрометью бросился навстречу к плывущему; это был престарелый рыбарь: он перевозит юношу. Восхищенный, осчастливленный Сеид бросает горсть золота перевозчику и бежит к месту, где надеется найти красавицу, свое сердце и златоперую спутницу... Тысяча надежд, желаний, расчетов и предприятий волнуют грудь бегущего. «О! кто бы ты ни была, – думает юноша, – я упаду к ногам твоим, призову небо и землю в свидетели любви моей и смягчу твое сердце. Может быть, ты утратила путь и блуждаешь в сей уединенной стране: я проведу тебя в места твоей родины, буду защищать от лютых зверей и неусыпно бодрствовать на страже во время приятного сна твоего... Может быть, ты несчастна, гонима судьбою, преследуема нуждою?.. О! я исторгну тебя из железных когтей нищеты, осыплю всеми цветами богатства и роскоши. Чертоги отцов моих полны сокровищ, в садах чертогов моих вечная зелень; светлые водометы прохлаждают зной дневной и весело играют с лучами светил небесных... Пойдем, о прелестная!

день сулит тебе радости, и ночь обещает наслаждения; тебя ожидают златые ткани, благоухание цветов и курение мастик... Пойдем». С сим словом юноша приближается к спящей красавице и, тихо приникнув, хочет прикоснуться краю одежды ее; но златоперая вспорхнула – и Сеид цепенеет, дрожит; недоумение оковало его чувства и ужас оледенил кипящую кровь! Златоперая вспорхнула – и прелесть исчезла. Там, где спала красавица, Сеид увидел голый остов давно истлевшего трупа: страшная жаба гнездилась в черепе, и кости от ветра стучали!.. Между тем златоперая кружилась и звала путника далее. Изумленный идет, не постигая тайны очарования. – Воздушные пути просторны: златоперая летит куда хочет, а Сеид идет, куда ей хочется; ни кустарники, ни овраги не останавливают юношу. Однако непроложенной дорогой не далеко пройдешь. Сеид пришел к топкому болоту: ни перейти, ни переехать! Между тем ночь обложила окрестности, все потемнело вблизи и вдали, только златоперая светилась, как искра в воздухе. Птичка перепорхнула за болота и присела на кустик, а Сеид остался ждать утра. Он ищет глазами свою вожатую – и новое чудо! – В том месте, где сидела птичка, Сеид увидел груду дорогих каменьев. Показался край луны из-за облака – и сокровище сделалось еще виднее. Длинные лучи сверкали из-под зелени; необычайный блеск разливался кругом того места, где сидела златоперая. – «Я не нашел красави-

цы, – думал Сеид, – так найду сокровище. Как обрадую сестер и матушку, принеся им множество камней, которым подобных не найдется, может быть, на целом Востоке!» – Так думал Сеид и двадцать раз пробуждался, чтобы взглянуть, тут ли еще сокровище. Ночь тянулась, как вечность... Драгоценности сияли яснее звезд; наконец наступило утро. – Юноша вспрянул и, при алом блеске догорающей зари, побежал вдоль по болотистой полосе искать переправы. В одном месте видит тропинку: идет, вязнет, освобождается, хватаясь за кустарники, и наконец он уже на той стороне! – Нетерпеливый бежит; алмазы и яхонты светятся; но златоперая вспорхнула – и Сеид, вновь обманутый Сеид, ничего более не видит, кроме груды диких камней, гнилого дерева и серого песку!

Таким образом все порхала и обманывала его златоперая. Сядет на терны – алеют розы; улетит – торчат иглы! Присела на утлом пне – под нею глыба серебра; улетела – осталась гнилая колода! Садилась ли златоперая на сухое дерево – зеленело; прикасалась к увядшим цветам – оживали! Но утренние тени пальм и кедров сократились, зной запылал, пастухи и стада искали прохлады: все возвещало полдень. Златоперая помнила назначенный час и кратчайшим путем привела неприметно Сеида к хижине мудрого Абуфара. «Здравствуй, Сеид! – сказал, улыбаясь, старец. – Доволен ли ты своею спутницею?» –

«Отец мой! – воскликнул юноша, – не стану рассказывать тебе, что я видел и что испытал; но скажи, ради самого Пророка, скажи мне скорее, что это за чудесная златоперая птичка?» – «Ее зовут, – отвечал старец, – *воображением*! Так, сын мой! воображение придает вещам прелестный, но обманчивый блеск; простирая на все неизъяснимое очарование, оно превращает безобразие в красоту, гниль в серебро и пыль в золото. Ах! эта златоперая птичка давно чудесит и творит беды под солнцем; сколько несчастливцев покидают мирные кровы родины и бегут без цели из одной страны в другую, ища обещанного воображением! Многие тонут в морях или гибнут на войне прежде, нежели найдут обещанное; другие – находят и скучают, ибо находят свой предмет не в таком виде, в каком представляло его издалека воображение. Златоперая, как сам теперь знаешь, показывает все в превратном виде; всему придает ложную цену; все окрашивает цветами обманчивой радуги и осыпает блестками поддельного золота. – Но я сделаю тебе дорогой подарок (и с сим словом вручает ему оправленное в золоте стекло). Оно имеет дар разрушать всякие чары воображения; держи всегда при себе талисман сей и помни, что истинную цену вещей не иначе можно познать, как смотря на них сквозь стекло *здравого рассудка*».

IX
Прохожий

Отец престарелый завел, мимоходом, сына юношу, на большой дороге, в гостиницу. – «Потерпи здесь, – сказал он сыну, – веди себя порядочно, а я, погодя, зайду за тобою. Если ты не сделаешь худого, мы придем в хорошее место».

При том отец вверил сыну кроткую горлицу и белого воска свечу с фонарем надежным. И был такой завет от отца: «Береги, дитя, эту горлицу, как зеницу своего ока, и не давай никому гасить свечи от меня зажженной...»

Ушел отец, остался сын. И стали находить люди, все незнакомые. Столпилось много народу и много страстей и пороков... И видит юноша великую неправду и презорство, и мстительность, и видит зависть, и злость, и гнусную ябеду с клеветой и коварствами... Видит, но в утешение себе говорит: «Что мне до них? Я ведь прохожий! Здесь худо, но придет отец и проводит меня туда, где хорошо! Он сказал – я верю!..» И вот он ждет, и кому может помочь – помогает, и кого может спасти – он спасает, а не может спасти – сожалеет!.. Вот люди пьют и едят и друг друга обдаривают, а прохожего все мимо, и других, кого могут, обносят... И у тех других, кого миновали, кипит в душе черная досада, и сохнут, желтеют они... А прохожий спокоен!

«Что мне в их дарах и наградах? Говорит он: они так нечисты, так грубы!.. Отец, конечно,

даст мне лучшее!» Но люди, завиствуя, не оставили в покое прохожего. Обуяв от пьянства, они напускали ястребов и коршунов, чтоб сгубить его невинную горлицу, и с громким хохотом махали нечистыми одеждами, чтоб загасить его свечу. Бедный едва мог уберечь свое сокровище! Но сон одолел упоенных, а между тем подошло к окнам прекрасное свежее утро и, вместе с солнцем, явился Отец! – Он верен в слове своем, и похвалил он терпение сына, и повел его в лучшее место. «Отец! – говорил дорогою сын, – ты долго оставлял меня с худыми; ох! грустно и скучно мне было: *там* пахнет пороком и смертию!» – «Зато, когда умел быть хорошим с худыми, теперь будешь ты между лучшими лучший!» Так отвечал, с улыбкою, отец – и они пришли в веселое место.

После старцы, передавая внукам сие предание, толковали так: что невинная горлица – есть наша чистая совесть, а свеча в фонаре – наш здравый рассудок.

X
Добродетель и порок
(подражание восточным апологам)

Великолепное златое солнце, в день своего создания, как легкий шар, покатилось из Творческой руки Предвечного в голубые поля светлеющей тверди. Радостно восплескали ему

духи небесные, и все творение разделяло радость первосозданных: ибо неописанна была красота юного солнца! Весело блистало оно до полудня, не ощущая таинственного влечения к западу и не предчувствуя своего вечера. И самые серафимы и ангелы мнили, что новосозданному светилу предопределено быть незаходимым. Один Всевышний, пред очами Коего лета и столетия мелькают, как мгновения, один Всевидящий, от взоров Коего глубочайшая темная бездна не смеет сокрыть малейшей черной песчинки, – Он единый ведал, каков будет тот, для коего возникла, из бурного смешения стихий, веселая земля; для кого зажглось в необъятных пустынях эфира великолепное солнце. Он ведал, что человек, будущий житель подсолнечной, сие величественное и вместе слабое творение, одним только способом будет постигать цену вещей: чрез сравнение и утрату оных, скучая всем, что постоянно и знакомо, и любя все, что переменно и ново: Всевышний ведал сию тайну сердца человеческого, и указал солнцу запад, и повелел быть ночи. – И с того часа последние лучи дня всегда соприкосновенны первым теням вечера... И то же самое, что последовало с солнцем в мире естественном, случилось с добродетелию, светилом мира нравственного. Для оттенки и возвышения светлой добродетели произошел мрачный порок!

Окрыленный дерзостию, сей неистовый сын тьмы тотчас помчался по свету и породил

себя достойное и во всем себе подобное исчадие – преступление. – Оно ворвалось в общества людей, как голодный тигр, и засвирепствовало, как страшная зараза. Тогда добродетель, подвигнутая к состраданию стонами человечества, произвела на свет наказание. Сие, по виду слабое, дряхлое от самого рождения и едва двигавшее по земле хилые ноги свои существо казалось вначале неопасным надменному успехами преступлению. «Где ему достигнуть меня!» – думало гордое, носясь вихрем по подсолнечной. Так думали и человеки, и духи небесные, соболезновавшие о человечестве. – Но опыт показал противное. Крылатое часто обольщалось ароматом цветов роскоши и засыпало на ложе беспечности. Оно засыпало, как лютый волк, опьяневший от крови своей добычи; а наказание, не ведающее ни сна, ни отдыха, все вперед да вперед на костылях своих, – и часто хромое застигало врасплох быстрокрылое и било его без пощады железною клюкой. – Так ходило и ходит еще по свету наказание; и вы, прилежные наблюдатели всего, что творится под солнцем, никогда не сомневайтесь при виде преступления, чтоб рано или поздно не постигло его наказание. Примечайте только – и увидите, что блистательнейшая минута торжествующего проступка есть уже начальною минутою его гибели. – Этому были очевидные свидетели деды наши, и то же, вероятно, увидят и внуки: ибо порядок мира всегда одинаков, всегда идет своею чередою, не заботясь о том, что люди на

земле, как листья на дереве, то вянут и падают, то зарождаются вновь. Вечные законы установлены не для человека, но для человечества, которое и по нашему счислению имеет уже от роду 7000 лет, а по китайским и другим преданиям более. Люди умирают, но человечество не ведает смерти... Я отступил немного от рассказа и спешу продолжать. Между тем как наказание укрощало дерзость преступления, добродетель никогда не упускала из виду могущего соперника своего – порока, который оттого более встречал терпимости в обществах людей, что, подобно гнилой колоде, издавал от себя серебряный блеск во тьме предрассудков и заблуждения.

Порок (сын ночи) как прежде, так и ныне был всегда врагом света. Но к счастию человечества, он нередко, как мы уже сказали, засыпал на ложе сладострастия в объятиях утех, под завесою мрака. – В сем-то положении, подкравшись однажды с светильником истины, застала его добродетель. Тут она так близко поднесла светильник свой к ложу, что в полной наготе открыла все безобразие порока; и в сию *минуту обличения* люди содрогнулись, а духи небесные отвратили светлые лица свои от безобразного. – В то же время успела добродетель заронить искру из своего пламенника в самое сердце порока. Встревоженный вспрянул и полетел, но – искры из сердца не вынешь! Он погружается в глубокие моря, взлетает до высоких небес, а искра все тлеет, а сердце все болит!.. На-

конец искра превратилась в пламя; несносные муки овладели породившим преступление, и с той поры все видели, да и теперь еще, кто примечает, видит внутренние мучения порока. – Мы знаем также и лютые сердечные муки порочных. В сердце человеческом натянута струна, издающая унылый, печальный звук, который всю глубину сердца наполняет нестерпимою тоскою, когда прикасается к ней нечистый перст порока. Эта струна в наречиях народов называется Раскаянием. – Заметили, однако ж, что в одном ладу с нею находится другая, издающая звук неизъяснимо приятный, по своей усладительной томности. Она звенит всегда после струны Раскаяния. Эту последнюю называют струною умиления. – Есть еще в сердце человеков издавна поставленный добродетелию верный страж, который, всегда неусыпно бодрствуя, тотчас наполняет всю грудь нашу воплями и тревогою, когда только завидит, хотя издали, приближение порока. – Сего верного стража родоначальники поколений человеческих назвали Совестию и уверяли притом, что все покушения порока ничтожны, доколь хитрые страсти не успеют ослепить сего зоркого стража нашего счастия или доколе не потопит его бурный разлив разврата, столь часто наводняющий сердца и общества человеков.

Но обратимся опять к пороку: мучимый сердечными судорогами, которые называют у нас терзаниями (всегда свойственными изобличенному пороку), отчаянный ударился од-

нажды о камень, которым сам некогда загородил путь, общий всему человечеству, – путь от колыбели до могилы. Люди назвали камень сей камнем преткновения. Об него-то ударясь, порок расшибся на мелкие части. Но, подобно частям раздробленной змеи, все они сохраняли жизнь и движение. Неисповедимому угодно было одарить каждую из сих частей самобытностию. – И вот каким образом порок из единственного превратился во множественное число; и с той поры стали известны в обществах человеков *пороки*! С быстротою многих стрел, пущенных вдруг одним луком, разлетелись они по всем краям подсолнечной. Тогда и Добродетель, видя сие новое и столь вредное превращение врага своего, принуждена была раздробиться сама на части, которые у нас известны ныне под именами добродетелей. С тех-то пор общества людей сделались полями битв, на которых пороки ведут беспрерывные брани с добродетелями. Ни одна еще сторона не одержала решительной победы, и счастие никогда не было так переменчиво, как в чудесной судьбе сих боев. Однажды, – предание не говорит когда, – пороки собрались вместе и говорили: «Улучим удобное время, теперь наш час! Добродетели, сии слабые, застенчивые твари, рассеяны по необъятному пространству света. О Мудрости едва-едва где слышно: уже давно не присутствует она в советах сильных земли и убегает, как робкая лань, блеска чертогов и городов, где владычествовать нам всего приятнее! Нам

не опасна эта вечно задумчивая подруга тишины и уединения. И где ей повстречаться с нами? Мы так ручны, так обходительны с людьми; а эта суровая всегда удаляется от них и всегда хочет, чтоб за нею гонялись. Мудрено изъяснить странность поступков ее! То, смотришь, скрываясь от поисков Афин, запрется в бочку к Диогену; то проводит ночи над бледной лампадой, с каким-нибудь охромевшим Эпиктетом; то сама напрашивается в темницу к обвиненному Сократу... Вторая добродетель: *сила* (сила духа), растлена везде сладострастием или стонет под железным скипетром страстей. Красота (красота изящная, эстетическая) то же, что радуга: сама на небе, а только оттенками обольщает человечество. На земле ищут и уважают ее в одних наружных формах. О Вере и говорить нечего: ее владычество давно уже на языке, а не в сердце! О Любви много, правда, где слышно; однако нигде ее не видят: это ароматный елей, который давно уже испарился из открытого фиала, но оставил по себе какой-то приятный запах, по которому и думают, что он все еще там же, где и некогда был. – О Надежде стоит ли думать? Это монета, имеющая много блеску и никакой цены! Итак, добродетели или исчезли, или рассеяны: следовательно, слабы; а мы, о пороки! о, бодрые, неутомимые друзья! Мы будем отныне повсюду вместе и всегда заодно! Вместе нам, други, погибнуть или вместе восторжествовать на развалинах порядка!

Бодрствуйте; приидет время, когда мы восплящем на могилах добродетелей, при горьких стонах ненавистного нам человечества!» Так усоветовались между собою чудовищные пороки на пагубу людей. И с тех пор они всегда вместе и везде заодно! Появится ль где-нибудь один, верно и все там же будут: не так дружно ходят волки по северным лесам и не с бóльшим согласием соединено стадо пернатых, улетающих за море от зимних бурь. Много потерпел свет от неразрывного союза сего и от низкого желания людей быть потворщиками и пристанедержателями пороков. Наконец и добродетели соединились между собою узами братства: Мудрость, Сила, Красота, Вера, Надежда и Любовь взялись за руки и пошли учить, подкреплять, украшать, возносить к небу и утешать всегда и повсюду человека, сироту и странника в сем мире! Но я все уклоняюсь, а рассказ мой ждет и как будто кличет меня; обращаюсь к нему.

Однажды Мудрость, приняв образ и глагол человека, говорила окружавшим ее: «Для чего созданы люди?» Для счастья! Для счастья! – был ответ, вылетевший вдруг из тысячи уст. – «Но где и в чем счастье?» И ни одни уста не раскрылись для ответа. Не решилась дать оного и сама Мудрость, всегда в ответах осторожная. Однако ж она говорила: «Спросите у любимой дочери моей Истории и у старшего сына моего Опыта: где счастие? Ужели нет его в чертогах могущих царей и в палатах вельмож

и наперсников их?» – «Нет! – говорит История. – Я открою вам все дворцы восточных и западных владык; введу в потаеннейшие храмины обладателей народов; заставлю говорить стены... И вы узнаете, что часто и на золотых ложах видят железные сны!» Но счастие может быть в палатах у вельмож: они менее подвержены тягостной ответственности пред Богом и потомством, а не менее богаты способами наслаждаться, как и самые цари? «Нет! нет! – восклицает Опыт. – Уже более 7000 лет скитаясь по свету, смотрю я на сынов роскоши и неги и ни одного не видал еще счастливым! Они, правда, все имеют; и от того самого, что всем наслаждаются, ни в чем не находят сладости! Скучая за лакомым столом, пресыщенный сын неги с завистию смотрит на последнего нищего, который, под окном палат его, жадно грызет корку черствого хлеба и доволен – насытясь ею! Поговорите с великолепными изголовьями царедворцев и вельмож: они расскажут вам такие вещи, после которых вы охотнее согласитесь спать на жестком граните в хижинах, чем на золотой парче в дворцах и палатах!» Так говорил Опыт, великий знаток сердца человеческого, долго живший и многое на свете видевший! «Так где же счастие?» – уныло повторили множество голосов. «Счастие – нигде и повсюду!» – отвечали в один голос История и Опыт. То же самое повторила и Мудрость, присовокупя некоторое объяснение к сказанному. «Счастие, – говори-

ла она, – точно нигде, когда его нет в нашем сердце, и повсюду с нами, когда оно там. Но счастие есть нежнейший цвет, прозябающий только на земле, уготованной и согретой добродетелью. Заключу двумя словами: будьте добродетельны – и будете счастливы!» Так вещала некогда Мудрость и спешила в ряды добродетелей, подвизавшихся на поле кровавой брани с пороками.

К вам взываю теперь, друзья добродетели! Брань сия с пороками, брань, в которой все человечество должно принимать живейшее участие, еще продолжается; еще ратуют великие соперники. Поспешим же и мы стать под святые знамена добродетели и разить обличенный порок! История и опыт доказывают нам, что человек тогда только истинно несчастлив, когда не может стремиться к благороднейшей цели бытия своего: к цели раскрытия всех нравственных способностей, на свободном поле действия, для пользы ближних, для общего добра! Поверим сим вековым истинам и, доказав свету делами, узнаем и сами на деле, что тот только может быть счастлив, кто, покоряясь во всем безмолвно воле Высшего Промысла, возжелает возненавидеть от всей души порок и страстно полюбит добродетель!

XI
Неведомая

«...Вы хотите, чтобы я забыл сего Ангела-хранителя моих дней: ее, которая отвлекала меня от праха земного, которая всегда поощряла дух мой парить к тем странам, куда не досягает ум обыкновенных смертных»
Петрарк[3]

Весна еще не утвердила своего владычества. Влажный ветер колыхал черные остроглавые сосны. Тусклая луна, как ладья на море, то возносилась, то утопала в дыму серебряных облаков. Эту картину природы видел я в ранней молодости, на чужой стороне. Со мною было тогда, что бывает с человеком, который в первый раз готовится отплыть за моря далекие. Еще не связанный отношениями земными, я, по какому-то невольному побуждению, смотрел на небо с глубоким, невыразимым чувством наслаждения. Состояние души моей было среднее между сном и бдением. – Вдруг посетила меня *неведомая*... Мне еще памятны и час посещения, и вид таинственной посетительницы: молодая и прекрасная, *она* была в белом платье, которое с какою-то ласкою обвилось вкруг прелестного стройного стана и, как будто с чувством, прильнуло к живой груди, окружа ее высокую шею.

---

[3] Так у Глинки. – *Ю. О.*

Под длинными ресницами, в прекрасных глазах ее светилось что-то неизъяснимо-прелестное. По ее понятному знаку пошли мы искать уединения глубокого. Развалины старого замка, отененные молодою зеленью, стали приютом нашим.

На мшистом камне *неведомая* поставила арфу свою, и ветер извлекал из нее звуки, которые проникали сердце до самой тайной глубины его: они мучили и услаждали душу.... Иногда *она* сама касалась арфы, и тогда чувство, огонь и свет, с силою, вылетали из-под гибких перстов *красавицы.* Между тем, молча, указывала *она* на тихие развалины, на город, сквозь сон шумевший, и с любовию смотрела на небо, с которого, казалось, и на нее смотрели... Не знаю, почему *ее* присутствие было так обворожительно. *Она* так усладила мою уединенную печаль, что я не променял бы ее ни на какую светскую радость. Моя душа понимала язык *неведомой.* Сладкие речи ее были из тех, которые произносятся не устами. Как тонкое веяние, как мысль, едва одеянная видимым знаком, сообщались они прямо душе и чувству сердечному. Так, иногда во время сна слышим мы отрадные разговоры и, пробудясь, не осязаем говорящего! Я весь был умиление, слушая высокие песни *ее,* и часы казались минутами. Весенняя буря затихла; звезды сменили луну; заря потопила их в румяном разливе своем. Но я, прикованный к земле, не замечал перемен неба. Только громкий говор утра вызвал меня из

забвения. Природа, как невеста, наряжалась в свое цветное одеяние. Воздух был аромат! Теплые ветерки, как друзья, возвращенные из дальней стороны, приветливо ласкались к пробужденному творению. Все стало движение, жизнь и радость. – Но душа моя полна была мечтаний и сладостной грусти, которая порождала в ней чувствования высокие. Скоро, после того, я сплавил свой легкий челнок на быстрый поток жизни. Страсти и забавы приняли юношу. Сладкие обеты кипели в устах милых предательниц. И чем далее заходил я в область жизни, тем более запутывался в волшебных сетях отношений общественных.

Наконец Опыт, за дорогую цену, открыл мне все тайны земного бытия. Печальные тайны! Я узнал людей, и холодная, медленная тоска тупым ножом своим прорезала стонающее сердце! С тех пор я уже ведал, что значат предательные зазывы честолюбия и кимвальный звук славы. Я знал очаровательную прелесть любви, любви, которая так светлит, так уясняет душу, что небо, со всеми своими радостями, изображается в ней, как в чистом зеркале спокойного потока. Но я ведал и неутешное горе любви, когда душа рыдает над погибшими надеждами своими, как юный пловец над разбитым челном, на диком бреге безлюдном... Счастие, сказал я наконец, есть драгоценный аромат: добрый Ангел, пролетая в другой, лучший мир, пронес его когда-то мимо людей и скрылся. Толпы суетливых искателей слышат очаро-

вательный запах, обегают землю, но нигде не находят драгоценности: небесный унес ее с собою, как принадлежность неба.

Живя и тоскуя, утешался я одною мыслию о *неведомой. Она* являлась мне и после с тем же очарованием, с тою же целебною силою для страждущей души. *Она* явилась мне на берегах Дуная. Накануне кончилось жестокое сражение; еще не отстонало поле и не застыла кровь; но мятеж земной не возмутил неба: полная луна сияла; тихие волны яснели. Вдали, в старинном городе, бряцало оружие победителей, и при свете удвоенных огней шумели жизнь и веселие ратное.

Но не было жизни на затихшем поле: смерть подернула его черным крепом своим. И жадный ворон уже готовился спорить с могилою о тленных остатках сынов человеческих! Тысячи лежали в прахе... Напрасно Слава, по именам, выкликала храбрых; напрасно товарищи звали их на шумный праздник победы... Опрокинутые трупы, с незатворенными тусклыми очами, казалось, еще глядели на небо...

Но они не видали уже ни неба, ни земли! Они валялись, разбросанные, как сосуды драгоценного напитка, раздробленные насильственною рукою... Луна, сияя в тишине великолепного своего уединения, наводила какую-то общую, синеватую бледность на сии свежие развалины человечества, в которых, за день пред тем, шумели страсти, играли надежды и свежие желания кипели, как лета пылкой юно-

сти. Тут явилась мне *прекрасная*, когда я сидел на высокой скале, нависшей над древним Дунаем. Унылосладостные звуки арфы ее слилися с тихим стоном последних умирающих, между тысячами умерших. Я встречал *ее* потом и на пустынных берегах Буга, под тем небом, которое внимало некогда пиитическим сетованиям изгнанного Овидия.

В сумрачные летние ночи Южных стран, когда воздух сгорал от пылких молний и гроза без грома сияла в серебряной полосе реки и над сухим морем пространных степей, я принимал, с чувством, руку *неведомой*, и мы гуляли, беседуя, по безмолвным пустыням до утреннего жаворонка, до пробуждения людей. *Ее* беседа, быстрая как время, не имела пределов, как пространство воздушное. Народы и веки, поколения и Державы проходили в воображении, как легкие тени, рядами, и шум их величия и отзывы славы, сменяясь, затихали, как чувства засыпающего путника.

Так! *она*, *прелестная*, провела меня, как Ангел-хранитель, по скользкой стезе молодости. *Она* дарила мне новую и лучшую жизнь. Ее вещания возвышали, облагораживали душу мою. Когда светская жизнь иссушала, обкрадывала сердце, или страсти палили его болезненным зноем, я кидался в объятия *неведомой* и дышал свежим и новым бытием.

К *ней* уходил я от жизни, от ее горестей, ее обольстительных обетов; при *ней* находил забвение, которое слаще всякого чувства бы-

тия! Развалины старинных городов и берега морей шумящих были свидетелями уединенных свиданий наших. Возвращаясь от *нее*, всякий раз, я ходил между людьми с полнотою сердечною, как человек, который носит в руках своих полную чашу ароматного пития и боится пролить ее...

Как дитя покорное, предавался я *неведомой*: я считал *ее* Ангелом небесным... Не знаю, отчего люди, конечно завистливые, говорили про меня: «Он слишком предается – *меланхолии*».

XII
Нищета и роскошь
(две картины)

В сыром погребе великолепного дома лежит забытый человек. На истлевающей соломе медленно истлевает страдалец. Болезнь и старость обезобразили обветшалое тело: едва можно узнать в нем образ человека. Бледный луч луны, скользящий сквозь разбитое окошко, и догорающая свечка пред старинною, безокладною иконою: вот единственный свет, слабо, как неясная надежда, освещающий темный приют нищеты! – Ветер, уныло воющий в трубе нетопленой печи: вот единственный плач над дряхлым сиротою! – Тощий пес, товарищ умирающего, соглашает с ветром и свое вещее

завывание. – Уже связи жизни, как древний истлевший узел, сами собою разрушаются; и смерть, жадная как враг голодный, хватает страдальца, выжимая хладный пот на челе его. Синие, багровые черты остаются на изможденном теле следами незримых перстов ее! Без памяти, но еще не без чувств, томно тянет несчастный слабые руки, как будто желая удержать еще вожделенное благо – отлетающую жизнь... Так молодая супруга, нежная мать, иногда мгновенно простирает сквозь сон объятия свои и хватает воздух и мрак, мечтая, что рука убийцы похищает младенца, опочившего на груди ее.

Мало-помалу все становится тишиною и смертию в темном, как могила, погребе. Но все жизнь и движение, в том же самом доме, в верху, в чертоге Роскошного... Гляжу туда и сравниваю.

Тут господствует скорбь и смерть; там пирует радость и буйствует жизнь! Тут выступает холодный пот, там брызжут кипящие вина; тут смерть осыпает мразом леденеющие уста страдальца, там роскошный богач опламеняет уста и ланиты молодой красавицы дерзкими поцелуями.

Но не сетуй, страдалец сирый! Когда настанет оный страшный день, в который не будет уже более вечера, когда взойдет роковая, невидимая буря, которая выплеснет все моря из берегов и сорвет все звезды с неба; когда подломятся вечные оси миров и рука обличи-

теля сорвет золотую пелену с притворного человечества: тогда нищий, благородный духом, ты будешь завистию и богатства и роскоши... Туда, в область святой истины, в светлые обители тишины и радости, не ворвется сие буйное человечество, у которого в устах, ослащенных лукавством, кипит желчь – и за рукавом руки обнимающей – таится кинжал! И теперь... И здесь, ты, конечно, видишь сии дружелюбные приветствия кротких, ласковых обитателей дивного, неизвестного мира... Они роятся над бедным одром покинутого человека, как легкие пчелы над первым весенним растением. Какие свежие, живые цветы нездешних, неземных долин, сыплют они на умирающих! Золотой, голубой, алый, беззнойный пламень играет в воздухе, сливаясь в тысячи разновидных картин, и душа невинная, не страдая, любуется последним часом, своим прекрасным преображением. – Звук, извлеченный мимолетным ветром из арфы уснувшего певца, не исчезает в пустыне, но, протекая пространство, ищет соединения с общею гармонией. Так и душа, освободясь, ищет нового бытия в общей жизни вселенной, в общей гармонии мира... Вера указует путь ослепленной незнакомым сиянием; надежда подвязывает ей легкие крылья, а любовь принимает в сладкие объятия свою бледную, робеющую сироту и странницу.

XIII
Картины залива

Из окна моей комнаты люблю я смотреть чрез куши зеленых дерев, чрез луга и равнину на тихий залив перламутрового цвета – таковым он кажется в некоторые часы дня – когда розовый край неба отливается в нем так ясно, как высокие истины веры и благодати в чистой, безмолвной душе человека, который не умствует, а верит... Гряда отдаленных лесов синею дугою окружает заливы. Воображение скользит мимо шумного города, который видится вдали, как великолепное сновидение, и охотно любит останавливаться на белых парусах величаво идущих кораблей и смиренно причаливших лодок. Я всегда думаю: там, на сих кораблях, на сих челнах есть люди, у каждого свои мечты, свои надежды, свои желания... Под разными полосами неба качались их колыбели, и где застигнут их могилы? – В вечерних туманах нашего Севера одни мечтают о сладком воздухе Италии, где прекрасные виды веселят душу, как роскошная музыка – ибо в природе есть гармония в звуках, цветах и в стройном разнообразии видов; где моря, как светло-зеленый бархат, сияют отливом щедрого, великолепного солнца, где вечер сходит, как мир, упокоивая природу и чувства человека. Другие воображают берега полуденной Франции, так прекрасно изображенные Вернетом

на картинах его, в которых природа-красавица дозволила живописцу снять с себя столь верный портрет!

Те воспоминают края, где вершины гор земных стоят выше громов небесных и красуются, как великаны, в ледяных венцах своих; они блистательны и хладны, как люди, окруженные сиянием величия, но лишенные теплоты милосердия! – Воспоминают иные о долинах, где сладкий пурпур и янтарь в роскошной неге, как идеи человека, надежно огражденного законами, беспечно зреют в виноградниках для того, чтоб сок, извлеченный из кистей, свободно созревших, перешел, как сокровище, в потомство позднейшее... Иным представляются оливковые рощи и, кажется, слышится еще благовонный запах цветущих померанцев, далеко лиющийся по счастливым долинам, лежащим у подножия холмов, увенчанных развалинами древних, красивых замков, где еще видимы сады и фонтаны и мозаические картины на разрушенных стенах, где в давние времена победоносные Мавры изобразили золотом и яркими красками сладкозвучные стихи Корана и тайны мудрости Восточной в символических знаках, кои привыкли считать теперь за простые узоры... Там некогда, под живым навесом пальм и ясминов, плавая в ароматах роз, среди жемчугу, фарфора, хрусталей и зеркал, под песню соловья и горлицы, и при звуках цитры воинственного Мавра и вдохновенного Трубадура, в прохладе биющих фонтанов и в сильно ударяющем

на чувства благоухании *мускуса*, почивала роскошная красавица, воздыхая о счастии земном; и смиренно сидел изнуренный голодом *Дервиш*, искавший пути к небу, которого тайны еще не открыты были Пророком его.

Но не всегда представляется мне залив спокойным зеркалом. Он померкает вместе с небом. – Восстает ветр, и влажная долина холмится... Иногда белые волны подымаются, ходят и пасутся, как стада на своих пажитях... Иногда вдруг налетевший порыв вихря колышет лес, крутит пыль на большой дороге, свивает облака в небе и буравит до дна воды залива... Это явление невольно напоминает о тех случаях жизни, когда одно налетное чувство приводит в движение всю природу человека.

XIV
Внутреннее наслаждение и светская суета
(две картины, занятые из сокровищницы души человеческой)

Провидение, милостивое к человеку и в земном его заточении, подарило его прекрасною способностию уединяться в самого себя, жить с собою и наслаждаться у себя и своим. Из тесного уголка, из бедной хижины воображение, как волшебная пчелка, летает из страны

в страну, по лесам, городам и пустыням, и везде находит что-нибудь такое, что может принести домой, чтоб повеселить душу, которая, разгневавшись на шумный, суетливый, беспокойный мир, уединяется сама в себя, и в сладкой, ненарушимой тишине любуется мечтами, как будто картинами волшебного фонаря. – В это время ум отдыхает; голова покойна; страсти – сии подпольные жители сердца – заперты в своем погребе: их пробуждает только тревога. Совесть – если она чиста – светит в сердце так весело, как первое утро в храмине новобрачного, когда он, проснувшись первый, смотрит на розовые ланиты своей подруги и ожидает, когда откроются ее голубые глаза... Тут душа наслаждается тем удовольствием, которое ни у кого не отнято, никому не мешает, которому никто не завидует и которое выше всякого наслаждения чувственного. А чувства? Что ж делают чувства? – Они дремлют, как слуги в передней, когда их господин занимается у себя своим делом. Вот тайна непокупного и непродажного наслаждения *внутреннего*, тайна, которую кто-то сказывает добрым, когда они утомятся в свете, который вечно шумит и кружится, как мельница на полном ветру, и мелет все, что в него ни попадает... Но вот другая картина! Вдруг подлетает к душе уединеннице *суета земная*. – Прощай, спокойствие! Все приходит в волнение... чувства жадно ловят впечатления – добрые и худые; ум, встрепенувшись, гордо осматривается и умствует... страсти тотчас выполза-

ют, вспыхивают, рвутся и, толкая друг друга, толпятся в сердце; мысли волнуются; голова кружится, как жернов... Во всех этажах человека страшная тревога: тут говорят, спорят и ссорятся о чести и почестях, о видах, надеждах и желаниях... Тут слышно шипение зависти, ропот самолюбия и цепь отношений, приличий и обязанностей мгновенно накинута на душу, как аркан горского разбойника, и влечет бедную из минутной независимости в рабство и тревогу, называемую – *светскою жизнию*, где ум изгибается и коварствует, язык лжет и лицо, как искусный актер, играет такие роли, каких настоятельно требуют обстоятельства.

XV
Свидание в луне

В кипящей юности моей, когда я ничего не знал еще о жизни, людях и свете, я видел жизнь и свет в голубых глазах красавицы. Эльмира было имя ее. Одно только безмолвие может сказать, как она была прекрасна. Рано по утрам, когда я, вместе с птичками, подстерегал восход солнца, я часто оставался в нерешимости, что прекраснее, природа ли, пробуждаемая алым утром, или милая дева, опочивающая на белом ложе, под тонкою дымкою, так покойно, как чувство ясной надежды и тихой любви почивает в груди человека. Мечты и видения, ка-

залось, соглашались забавлять невинную; ей всегда снилось что-нибудь прекрасное, ибо улыбка всегда порхала на прекрасных устах ее. Казалось, полная молодая роза жила и дышала на сих свежих устах! На часах моей жизни ударил час разлуки. И дни, и месяцы, и годы как будто слились в одно *вчера*, и наступило то *завтра*, которому надлежало быть последним для нашего последнего *прости*! Теплый весенний дождик умыл лицо природы. Благословение сошло на обновленную землю. Густой аромат черемухи и тонкий запах фиалки, как бальзам весны, незримый, но ощущаемый, освежал, облагороживал воздух. Протяжными перекатами свистал соловей, как будто с кем-то перекликаясь... Все было весело, только печалились мы.

Скоро пространство разделит нас! Чужие земли, города, реки и народы станут между нами. Когда и где увидимся с тобою, Эльмира?.. Человек есть раб отношений и места; это ссылочный узник, влачащий по земле телесные оковы свои. Но мысли его свободны! Где ж найдем точку, в которой бы встречались наши мысли, чтоб можно было сказать: теперь глаза друга устремлены *туда*... За взорами мысли, за мыслями души повстречались бы на одном предмете? В это время, когда мы так говорили, засветлелся серебряный дым облаков и ласковая полноликая луна выступила и улыбнулась приветливо, как будто подслушав разговор расстающихся.

Новая мысль сверкнула как молния... Будь она – указывая на луну – нашею посредницею, привычным местом свидания наших душ!.. И условие сделано: где бы кто ни был, смотреть на луну в час ее восхождения и заката, и думать, что, в некоторое мгновение, мысли обоих могут повстречаться в ней!.. И так прошло долго, долго после разлуки с милой. – Высокие огни военного стана пылали на лесистых берегах Немана; кони ржали, оружие брящало, с утром ожидали боя – славы – и смерти... Я прислонился к корню вековой ели и ожидал – Луны... Рассыпчатое серебро заблистало в волнах реки? Она взошла, и я увидел в лице луны – лицо моей Эльмиры: лиловое покрывало осеняло русые волосы, белая роза сияла на челе... Уста ее, казалось, что-то произносили, и слух души моей уловил только сии слова: «Я разгадала загадку жизни! Не называй смертию минутный переход! Любовь соединяет миры; любви уступает пространство... Любовь стихия неба: будь она стихиею твоего сердца, и небесное соединится с земным! – Прощай! Мы розно и вместе, пока не разорвется нить душевного союза». Сии слова напечатлелись на моем сердце, и с тех пор, не раз, в светлые минуты туманной жизни, земное возвышалось до небесного, и небесное сливалось для меня с земным.

XVI
Вожатый

Однажды в сумерки, когда я находился в бездейственной задумчивости между сном и бдением, *Он* явился ко мне. Чрез затворенную дверь вошел *он* в комнату, схватил меня за руку и широкими шагами повел, все прямо, в далекий путь. Мы подходили к лесам, они пред нами расступались; приближались к стенам, они раздвигались; мы взлетали на горы поднебесные, спускались в пропасти подземные; везде нам мостились мосты, везде ожидали челноки самоходы... Чудесный вводил меня даже во внутренность огромных камней, под поддоние рек и показывал состав дерев под их корою... Повсюду жизнь и бытие! – Везде я видел дух жизни. *Он*, сей животворящий дух, развивал нежные стебельки цветов; *он* двигался по грубым жилам гранита; *он* пролетал, как молния, недра земли и зарождал металлы... Я видел таинства природы и тайные общества человеков; все обошел, облетел, видел, не зная сам, кто был вожатый мой, крылатый как *Меркурий*. И теперь друзья говорят мне: «Ты был водим *воображением*!»

XVII
Заветное зеркало

Дитя лежало на распутии, в дикой и знойной стороне. Пелена стесняла младенца, голод и жажда томили его. Никто не слыхал его

детского крика, никто не орошал млеком жизни его засохшие уста. Благодетельная Фея, гоняясь за душистым ветерком, чтоб отнять у него аромат, похищенный у любимых цветов ее, остановилась над младенцем, заняла у мимо летевшей пчелы каплю сладкого меда и оживила ею помертвелые уста покинутого страдальца. Она сжалилась над бедным, и любовь ее усыновила оставленного человека. Для него сошла она на землю, и в глубоком уединении цветущей пустыни ласкала и лелеяла питомца своего. Дитя видел кругом себя зеленую пустыню, смотрел на тихое, светлое небо, на румяные зари, как они менялись с золотыми звездами, на ясные радуги, когда они играли в серебряных ключах и потоках; но ничего, ни на земле, ни в небе, не видел он прекраснее лица своей матери; так называл он благодетельную Фею. Годы детской беспечности протекли как сновидение. Дитя стал юношей и послышал сердце в груди своей. Оно было игриво и пылко, и часто зажигалось неизвестным желанием. «Пора тебе туда!», – говорила Фея, указывая питомцу на свет, где жизнь и суета так весело шумели в обществах человеческих и где гражданственность сияла в великолепных созиданиях своих. «Иди в путь свой и, на дорогу, возьми от меня заветный подарок – это небольшое зеркало. Носи его на груди, там, где сердце, утирай каждый день чистым полотенцем, и, если будешь жить, как я тебя учила, оно всегда будет светло. Сгрустнется ли тебе в свете? загляни в свое зеркало:

ты увидишь там меня и много хорошего, и душа твоя расцветет как цветок, обласканный солнцем, – и будешь ты счастлив... Но береги мой дар: ему легко разбиться, еще легче затускнуть». – У ворот большого города юноша ощутил последний поцелуй своей, никому, кроме его, невидимой подруги; аромат и сладость остались на устах его... У ворот большого города встретили его страсти и удовольствия. Они дружелюбно обласкали дикого питомца безлюдной пустыни и повели, как гостя, на великолепный пир жизни. Весело было пришельцу; он открыл сердце надеждам и радостям: но в открытое сердце неопытного ворвались и пороки. Вскоре пробудилась в душе его *тоска*, мука жестокая, никогда им неиспытанная; отцвела его молодость, улетело веселие. Беспечный шел в свет так легок и весел – идя, не слыхал он земли под собою! – Познакомился с светом, опутался его сетями, отдался честолюбию и, вместе с блестящими дарами его, принял грузную ношу забот, упал, отяжелел духом, и тогда земля послышала его на себе! Лениво и с трудом ступал он по дороге жизни. В томлении, в грусти вспомнил он завет матери, захотел увидеть ее небесный образ и воскресить свою увядающую душу. Но талисман давно уже лишился силы! Его зеркало было темно и печально, как полночное небо. Напрасно погружал его в воду, бесполезно изобретал составы и смеси: ничто не смывало тусклого мрака с его заветного зеркала. Усталый, отчаянный, ломал он, тоскуя,

руки; терзал на себе одежды, и громко требовал у света своего потерянного счастия. Мало-помалу живая скорбь мертвела; он отживал для жизни, и свет ее бледнел и гаснул, и сердце его застывало, как уста покойника. Но погруженный в глубокую думу, над своим угасшим зеркалом, он послышал однажды как будто легкое прикосновение крыла... Чувство умиления вспыхнуло в его убитом сердце, и слезы брызнули из глаз. Одна слеза, как жемчужина, упала на зеркало и – чудо! – оно мгновенно прояснилось! Изумленный увидел в нем свое минувшее. – Он увидел свое родное небо, и все прекрасное, все благородное низошло, как святыня, как роса на томную ниву, в его померкшую душу, и возвело ее до прежней ее девственной чистоты и свежести. Из-за розового облака мелькнули золотые кудри и голубые глаза... Это восхитительное лицо его небесной подруги... *Она* была тонее аромата, который невидимо дымится над цветком, и светлее радости, которая посещает мимолетом сердце человека. Милые уста *ее* шептали что-то приветное, и каждый взор был праздник для души обновленного. Он благословлял *слезу умиления*, и с тех пор носил, как тайну, свое омытое сокровище. Ни страсти, ни пороки не касались его более, и счастливый странник, на мятежной земле, он видел, когда хотел, и тихое небо, и милую утешительницу в непомраченном своем зеркале.

XVIII
Два путника
(загадка)

Слепец от рождения и зрячий, два родных брата близнецы, связанные давней дружбою, шли вместе путем, ведущим к морю. Слепой не видал солнца, но утешался теплотою его. Он слушал пение птиц и любовался ароматом цветов и журчанием вод, от которых веяла на него прохлада. Он до всего дотрагивался и ничему не верил, чего не осязал. На земле еще довольно было предметов для услаждения его чувств. Чем ближе к морю, тем реже встречи и тем печальнее слепец. Но тем радостнее зрячий: обширное море, корабли, окрыленные парусами, пловцы и рыболовы, и зыбкая даль, слиянная с небом, утешали его. «Вот уж конец всему! – говорил уныло слепец. – Земли не достает более под стопами моими; с нею исчезает моя существенность! – Там, конечно, ничего нет, где я ничего не осязаю. За мною остались все блага, все наслаждения; шаг далее, и бездна, называемая морем, поглотит меня, и я погибну без возврату! Конец всему, конец всему!» – «Всему начало только тут! – говорил зрячий. – Мы скитались, усталые путники, по каменистым и скользким стезям на земле; теперь ожидает нас быстрый корабль. Спокойно и весело полетим мы по зыбким морям в далекие края. И новое небо, и новая, вечноцветущая страна ожидают нас! – Туда, туда!» – говорил зрячий и ласково ободрял своего нерешительного спутника-слепца.

XIX
Прекрасное соседство

В большом городе, в большом доме, где, как в огромном корабле, много было жильцов всякого рода, всякого звания, жил некто в уединенных покоях, один по своей воле. Он ни в чем не хотел себя ограничивать, не хотел себя стеснять, да и зачем? Он был господином у себя: кругом глухие стены! – Жилец привык беспокойно ходить, громко говорить, свистать, петь и шуметь. Никто его не слыхал, и все проходило... Иногда сбирались к нему товарищи, тож беззаботные головы, – они пили, курили и кричали, часто как безумные. Кто-нибудь говорил: «Что, братцы, мы так шумим; не стыдно ль?» – «Ничего! – отвечал хозяин. – Кругом никого нет, все глушь и пусто!» Так было долго. Вдруг послышал жилец, что за стеною что-то стучат и работают. Он наведался, и ему сказали, что в соседство к нему переезжает прекрасная девушка, молодая, невинная, знатного рода и *нездешняя*. Жилец тотчас стал осмотрительнее. Красавица переехала и поселилась: он не видал ее, но чувствовал. Часто в глубокой тишине он слышал, за тонкою стеною, походку – она была легка и спокойна; слышал некоторые слова – они были сладки и разумны. Жилец сидел дома как связанный: не смел громко слова выговорить, ни крепко ногою ступить: ему стыдно было обеспокоить *соседку-красавицу*. Но принуждение мало-пома-

лу становилось приятно и, наконец, обратившись в привычку, не стало принуждением. – Мысль: *я не один*, меня слышат! – останавливала его во многом. Своеволие покорилось воле, а воля смирилась пред необходимостию. Он стал совсем *иной*: уже не принимал к себе шумливых гостей: не стучали у него стаканами, не спорили за карточными столами... Жилец наш был не очень набожен: не молясь, ложился, так и вставал! Но соседка была не такова.

Часто, когда вечер своею сизою поволокою застилал широкие площади города и на высоком небе высветливались серебряные звезды, за стеною жильца слышался тихий голос, полный любви и жизни, и звенели звуки златострунной арфы. Это был *гимн* молитвы вечерней, это было чувство души, чувство светлое, неуловимое, иногда бессловное; ибо душа своим благоговейным онемением часто говорит более, нежели словами. Это была такая молитва, которая оставляет аромат и сладость на устах произносящих ее. Жилец слушал, забывался и молился по сладкому влечению сердца. Так было долго. – Успокоенный, затихший, чувствовал, что соседка его была нравственною воспитательницею его; но он никогда не видал ее, а так с нею свыкся, что по всему стал ей своим. Слыхал он только от других, что *она* была *чиста*, как белизна, и нежна, как существо *нетелесное*. Но в одну светлую минуту жизни он увидел ее, и, чудо!

они почему-то узнали друг друга и никогда уже не расставались более. Это достоверное предание всегда казалось мне каким-то *иносказанием.* Я потому говорил о нем с людьми знающими, которые растолковали мне все очень ясно, и я согласился с ними, что *соседка-красавица* была то же, что для человека бывает *совесть*, когда он начинает ее чувствовать.

XX
Райский цветок
(сон)

Был один день в моей жизни, который случилось мне провести в обществе людей, где судили ближних своих. Не могу сказать, чтобы суд людей сих был несправедлив; но, к сожалению, не могу сказать и того, чтобы он был *милостив.* Светские мудрецы слишком много требовали от бедной природы падшего человека и не хотели помнить священной заповеди любви: «Будьте милостивы, как и Отец ваш милостив есть». – С стесненным сердцем шел я домой и невольно размышлял о той прекрасной *притче*, которую рассказал нам Небесный Учитель в земном своем странствии между человеками[1].

[1] Притча о благодетельном Самарянине (Луки X, 25–37).

Сколько, думал я, *при большой дороге жизни* лежит теперь бедных путников, избитых, израненных нравственными разбойниками – *страстями*! Проходят мимо толпы *Левитов и священников*, с холодным осуждением, и скоро ли найдется *Самарянин*, который бы, сжалясь, возлил вино и елей на раны человека, может быть виновного, но слабого и несчастного! С сими и подобными мыслями уснул я на жестком ложе, в своей убогой хижине, и сон удивительный привиделся мне. У изголовья моего вдруг очутился *кто-то*, кого я не видал, но *чувствовал*. Его присутствие было ощутительно так, как ощущается в себе присутствие высоких мыслей о Божестве и добродетели... *Сей невидимый*, как мне казалось, говорил или читал громким голосом следующее: «Когда первый человек изгнан был из Рая и меч грозного Херувима уже пламенел между им и вратами Эдема, тогда первый человек, обратясь, сказал к Господу, взиравшему с небес: "Господи, Боже мой! подари мне, бедному изгнаннику, что-нибудь такое, что бы могло в горькой ссылке моей напоминать мне о том благополучии, которым наслаждался я некогда в священной обители Рая..." Господь принял моление и собственною благодатною рукою взял один прекрасный цветок из Рая и подал его просящему, с сими словами: "*Насади в сердце своем!*" Первый человек принял с восторгом прекрасный цветок, который тотчас окружил его благоуханием Рая и пролил небесную прохладу в груди, палимой зноем

греха. Впоследствии открылось, что собственное имя цветка сего было – *сострадание к ближнему*... и всякий, в чьем сердце прозябал цветок сей, ощущал высокое чувство духовного услаждения; – и всякий, кто только слышал хотя издалека небесный аромат цветка сего, мог уже понимать то неописанное блаженство, которым утешался некогда первый человек *в Раю сладости,* во дни своей невинности». Тут говорящий невидимец умолк; но душа моя долго плакала и сердце таяло от умиления... Утренний ветерок дохнул в растворенное окно, и телесные очи мои открылись... Земля и небо были прекрасны: заливы северных морей стояли тихи, как синее стекло; алая заря отражалась в них, как легкий румянец на лице спящего младенца. Сосновые рощи разливали смолистый запах по теплому воздуху; зеленый сад усыпан был алмазною росою: птички пели, цветы благоухали... «Боже! Как богато украшено твоею милостию и самое заточение человека!» Это было восклицание моего сердца, и в ту минуту мне так хотелось, чтобы все несчастные, все страдающие на сей земле сетования, соединились, слились в одно существо, которое мог бы я свободно прижать к моей груди и облить слезами *участия*; это мечтательное желание было, конечно, последствие необычайного сна и сладкого умилительного воспоминания о прекрасном райском цветке.

XXI
Сатир и весталки

Косматый! зачем такими распаленными глазами глядишь на светлое убежище чистых дев? Невидимая сила ограждает их! Но твое дерзкое воображение, как коршун, перелетает забралы, ломится сквозь врата за запоры и, как голодный волк, ворвавшись в убежище невинных, нагло срывает покровы с их девственных красот. Но трепещи! Священный огнь, хранимый как тайна, не терпит ничего нечистого... Он превратится в перуны и раздробит дерзновенного за его преступные помыслы и дерзкие мечты! – Безобразный, тревожимый пожеланиями, *Сатир* не есть ли Порок? А скромная, спокойная Весталка не означает ли *Души*, сохраняющей, как святыню, огонь высокой чистоты?

XXII
Неосязаемая утешительница

Я был печален, как ночь, которая застала меня в уединенном месте, где я мучился в тоске без упования. Это была одна из первых осенних ночей. Глубокая темнота сошла на землю. Давно погасло солнце за голыми каменными скалами. Я смотрел на потухающие лучи с возрастающей грустью. Так же бледнели и так же погасли мои лучшие ожидания, мои вожделеннейшие радости. Ни одна из звезд не показыва-

лась на небе, ни одно из светлых чувств не сияло в душе моей. Только месяц багряный, как будто налитый кровью, выступил на край неба и гляделся в уединенный поток, разливая кругом тусклое, унылое мерцание. Я смотрел – ничего не видя... Вдруг, вдалеке, туман начал тихо клубиться, и мрак как будто растворился... Блеснула золотая точка и, разгораясь более и более, подходила ко мне в образе прекрасного *видения*. Это была дева прелестная, миловидная, в лиловой одежде и в белом венке. Лицо ее, украшенное детскою невинностию, сияло, как лицо невесты, когда она произносит первое «*люблю*!» Весело и дружелюбно подошла она ко мне, угрюмому и пасмурному, и кинулась на грудь! Я обхватил прелестную!.. Но она была неосязаема, как сновидение неуловимое, как аромат, как мечтание. Она прикоснулась ко мне, как легкий благовонный пар, и вдруг как будто растаяла, и неизяснимая сладость слилась с моею огорченною душою – и все бытие мое прояснилося... Видение исчезло, только долго курился в воздухе аромат. Наконец мало-помалу все стало, как было: окрестности еще больше молчали и темнота становилась темнее... Но в душе моей занялся рассвет нового прекрасного дня. Я был наполнен непонятным спокойствием – и мне казалось, что из сердца на уста мои, накипевшие желчью, изливалась благовонная сладость, как будто вкушал я млеко и мед. Я возвратился домой веселым и счастливым, сам не зная

отчего. Некто, опытный в познании нравственной природы человека, объяснил мне несколько случившееся и сказал: «Ты принял в душу – *надежду*!»

XXIII
Три эпохи

Есть прекрасная, тихая сторона, *Илладою* называют ее. Там, когда я видел эту сторону *в первый раз*, не было ни солнца, ни луны. Одна вечерняя звезда светлела ясно, и тонкие лучи ее, как серебряные шелковистые нити, сновали по всему пространству. На свежих, зеленых лугах лежала неосязаемая ткань, как легкая серебряная дымка... В той стороне неизвестной, на тех лугах неведомых гуляла прекрасная девушка в безмятежном равнодушии. Она улыбалась на бабочку, прильнувшую к ее руке. Такие же мотыльки и бабочки – синие легкокрылые яхонты – порхали по серебряным лучам. Гуляющая красавица, не тоскуя и не радуяся, была совершенно одна, сама с собою и с своими мотыльками летучими.

Я видел ту же страну в другой раз. Но в ней зарождался уже призрак дня и алое сияние; предвестие солнца густо лежало на половине неба. Прекрасная девушка гуляла там же. Но она была как-то менее одна.

И в третий раз увидел я страну *Илладу*. Но серебряная ночь уже явственно переменя-

ется там в веселый, белый день. Алмазы росы блещут на зелени. На земле все свежесть; в воздухе все услаждение! Прекрасная девушка жила прежде только для себя, была одна. Теперь вся природа, кажется, дружится с нею! Все около нее любит и ласкается. Целые семейства белых голубков местятся на ветках каких-то густых зеленых деревьев и нежно целуются... На плечах ее сидят также белые голубочки, смотрят на нее злато-розовыми глазами и что-то ей как будто нашептывают... Ручьи бегут к ручьям; ветви клонятся к ветвям; все соединяется; все учит единству, согласию, дружбе и любви нежной, благородной, невинной, высокой, как небо, и чистой, как его внушения.

Может быть, эта прекрасная девушка означает *душу*, а мотыльки не значат ли летучих мыслей? Но что все прочее?.. Догадайтесь!..

XXIV
Неразлучные

Спокойны жители Востока! Они удивляются живой, порывчатой деятельности суетливых европейцев. Важный, благовидный обитатель берегов Гангеса и Эфрата, безмолвно сидящий на узорчатом ковре своем, сложа руки выше пояса, с улыбкою сожаления смотрит на странную деятельность европейца, бегающего

туда и сюда, иногда с необдуманною резвостию ребенка, но по большей части, с некоторым тоскливым, многозаботным и нередко судорожным движением человека, как будто осужденного к какой-то страшной участи. «Зачем же хвалятся они своими науками, своею философиею, – говорят восточные о европейцах, – когда их науки, когда их философия не дают им спокойствия? Стоит ли жить, чтоб тревожиться! Человек создан для покоя высокого, для созерцания усладительного...» Испытатели природы приписывают действию солнца различие темпераментов. Полагают между прочим, что сухость воздуха на Востоке унимает резвость крови. Неизвестно, достоверна ли сия причина; но достоверно то, что жители Востока, богатые и бедные, занятые и праздные, любят молчать, задумываться и предаваться некоторой роскошной мечтательности, придающей и самой их наружности какой-то вид спокойного самодовольствия. Дикие, огненные, стремительные на войне, они мирны среди мира, медленноглаголивы в беседах, кротки, *сладконравны*[5] в домах и кажутся тающими в роскоши садов своих. – Их созерцательное бытие на земле проходит как долгая, усладительная дремота.

---

[5] В некоторых местах на Востоке существует обычай, сидя с гостем, молчать, думать, курить и только от времени до времени спрашивать друг у друга: «Каково теперь расположение вашего нрава?» На что отвечают: «Оно сладко – как сахар!»

* * *

Недалеко от развалин древнего Персеполиса, священно знаменитой столицы царей и магов Персии, обитал некогда Зунбар, смиренный последователь великого *Зороастра. Слово жизни* (Зенд-авеста) было правилом его собственной жизни, и тот, *кто улыбался тотчас по рождении* – был мудрецом, ему любезнейшим. Зунбар верил, что вековечное Время самобытно, безусловно почивающее в своей беспредельности, *некогда* восхотело – и породило *Ормуса* и *Аримана.* Оба были блистательны и благи. Но *Ариман* воскипел завистию – и *потемнел*! Он очревател *самостию* и, отторгшись от общего устроения, отяжелел и низвратился долу, где, в неисчетных видах зла, свирепствует, воюя противу верного *Ормуса* и любимых им человеков. Глубокая тьма, любимая стихия Аримана, окружает его и клевретов его. Сия-то тьма густо застилает землю, на которую *молитвы верных* низводят лучи горнего света из лона вечно сияющего *Ормуса.* Зунбар умел читать в великой *книге природы.* Он ведал и священный язык (санскрит), на котором написаны книги Зенд и тайные *Веды.* Каждая буква сего языка, начертанная в *определенное время*, низводила горний свет и врачевала, в известном круге, общий недуг дольнего мрака. Сады и нивы кроткого *Зунбара* были плодоноснее, его деревья рослее и цветы махровее обыкновенных. Везде кругом его видна была как бы священная жизнь и свежесть; ибо на нем почивало благословение *повсюду и вселюбящего* Ормуса.

* * *

Последние лучи солнца отражались на богатой позолоте обрушенных лазоревых столбов, украшавших некогда дворцы и гробницы царей. Прохладный вечер нисходил, как тайный дар неба, на раскаленные поля. *Зунбар* сидел в саду своем, против высокого водомета, под живым навесом, на котором благоухали красивые ясмины и тысячи белых и алых роз.

Тишина и благоухание возвышали душу его. Он видел радужные дороги воздушные, лазоревые палаты, храмы, слитые из злата живого, как жизнь, и тонкого, как огонь, сады с древами неземными, цветы из алмазов и камней самоцветных - и рой младых *Пери*, купающихся в разливе алой зари. Иногда дух его парил еще выше: он видел *хрустальные врата*, сквозь которые, как во сне, открываются радости рая... И некогда созерцал он и слышал, как одна половина неба спорила с другою о том, чего более заключается в существе Господа: *всепремудрости* или *всеблагости*? И вдруг, среди таковой созерцательной задумчивости, видит он однажды пред собою странную чету. Две женщины явились ему. Одна – старая, наморщенная, изувеченная, подпертая клюкою, дряхлая, как немощь, и неприятная для глаз, как безобразие. Другая – свежая, молодая, стройная, с легким станом, с голубыми ясными очами, с миловидною головою на круглой, прямой, белой шее, которая, вместо ожерелья, обнизывалась мелкими светло-русыми кудря-

ми. Эта *другая* была вся прекрасна, как улыбка невинности, и чиста, как слеза сердечная. «Кто вы?» – спросил их Зунбар, таким языком, которого слова понятны, но не слышны, как слова человека, разговаривающего умственно с самим собою. «Кто вы?..»

«Мы родные сестры! – отвечала младшая. – Мы пущены в мир человеков, чтоб ходить по земле одной за другою... Она (указывая на старшую) для того, чтоб мучить, а я, чтоб утешать. Она всего лишает; я все заменяю. Видишь, какие у нее жесткие руки и на них цепкие железные когти!.. Мои ладони ласковы, как щелковитость атласа, и мягки, как ланита невесты, лобзаемая женихом. Ими лаская, я ублажаю, целю, успокаиваю сердце, растерзанное ею. Она мучит, как нечистая совесть; я успокаиваю, как голос ангела к кающемуся грешнику. Она горька, как полынь; я сладостна, как прохладительное *питие Востока.* Она – стоны и жалобы, я извлекаю из сердец человеческих те сладкие, те возвышенные чувства и те чистейшие слезы, которые духи жизни собирают в златые сосуды и приносят как дань, как лучшую жертву, пред густопламенный престол *Наднебесного*!» – Но для чего ж вы всегда вместе? Зачем ты, *прекрасная*! не бросишь своей безобразной? – Тогда старшая отвечала: «Зунбар! ты стяжал мудрость, но не получил еще *ключа разумения.* Ведай: так поставлено свыше! Без меня сестра моя была бы только существом умственным; при мне она *действительна.* Не

знали бы целебной сладости врачевства, когда бы не было огорчительной скорби болезни. Истинную ценность придаю сестре моей – *я*! Без меня люди многое бы забыли и лишились бы счастия облагораживать существо свое тем высоким ощущением, которое дарует *она*! Одним словом, кто решится не гнушаться моим безобразием, к тому близка будет и ее красота; ибо где я, там и она!..» Они говорили еще многое и наконец сказали свои имена на некоем Восточном наречии. Звуки сего наречия покажутся, может быть, странными для Европейского слуха, а потому я и означаю имена обеих в переводе. Первая, по-нашему, значит – *нищета*; вторая – *жалость*!

XXV
Крот и жаворонок, или Кто прав? Кто виноват?

Летняя ночь как будто куда-то уходила, утро белело, алая заря заиграла в зеркальном потоке и прекрасно расцветила край неба. Свежий ветерок подул, птички проснулись и, взмахивая крылышками, стрясали жемчужную росу. В это время пробудился *жаворонок* и полетел, полетел в голубое поднебесье... Он взвивался все выше и выше, и выводил свою сладкую песню, которой рассыпчатые звуки сыпались и на землю звонкою дробью. Наконец напелся, слетел и уселся. В это время

проснулся и *крот* и, чуя свежесть утра, пошел лазить по своим подземным конурам. Жаворонок был сосед кроту по гнезду.

И вот подземельник, высунув морду, чтоб надышаться свежим воздухом, начал говорить так:

КРОТ

Скажи мне, жаворонок! куда ты деваешься: тебя почти никогда нет на гнезде? я слышу иногда, очень издалека, отрывки твоей песни, но не могу постигнуть, где и зачем ты бываешь?

ЖАВОРОНОК

Любезный сосед! я остаюсь на гнезде столько, сколько требует неминучая надобность для приведения в порядок моего хозяйства, для напитания малюток, а все прочее время посвящаю созерцанию *лучшего*, наслаждениям высшим...

КРОТ

А что это за наслаждения *высшие*? Ты их кушаешь или пьешь?

ЖАВОРОНОК

Несчастный крот! Ты даже не знаешь, что такое высота: ты никогда не видал неба!.. Ах! если б ты мог почувствовать, как восхитительно вознестись высоко, высоко, видеть над собою золотое солнце, кругом себя радужный воздух, а под собою рощи, поля, го-

ры, моря, корабли, ясные, как стеклянные, воды и жилища человеков, и самих людей идущих, едущих и нередко останавливающихся, как будто послушать той песни, которую я пою не для них и не для себя, а по какому-то мне неизвестному побуждению и для пределов нездешних...

КРОТ

Несчастный жаворонок! Ты верно лишился ума! откуда набрал ты столько небывалых вещей: солнце, рощи, горы, моря, корабли... Я ничего этого не понимаю, потому что ничего не видал, то есть *не ощупывал.*

ЖАВОРОНОК

Но если не видал и, к несчастию, не можешь видеть, то по крайней мере ты - *веришь*! Для чего мне тебя обманывать?

КРОТ

О, нет! нет! я ничему не верю, чего не чувствую, чего не осязаю...

ЖАВОРОНОК

И так ты не веришь ничему, что вне твоего осязания! Как же мал, как тесен круг твоих понятий!..

КРОТ

Нет! Я благодарю Бога, создавшего меня: мне довольно просторно! Я хожу куда хочу; сам себе рою дороги и, гуляя, откармливаюсь. Есть или

спать, вот мои главные занятия. О другом ни о чем не думаю, головы не ломаю: потому, что все прочее есть выдумка, рассказ, пустые слухи, молва.

ЖАВОРОНОК

Как ты непонятен!

КРОТ

Такие – как вы летуны – болтуны! – Бог знает, куда унесетесь – и что видите, и чего не видите, про все нам поете; а мы слушай, да верь! – Вот, небось, тучная соседка – перепелица, из вашего же рода, а ничего почти не видала такого, о чем ты так усердно насвистываешь.

ЖАВОРОНОК

Жалкий!.. какого благополучия лишаешь ты себя! Ах, если б ты только мог поверить, то, и не видя, ты бы почувствовал, а почувствовав, ты бы уже наслаждался...

КРОТ

Спасибо! мы и так наслаждаемся про себя, тихомолком, когда попадутся сладкие корешки и жирные черви...

ЖАВОРОНОК

О, как это грубо! как это пахнет землею!..

КРОТ

Ну, хорошо! мы сделаем поверку: я, ползая под землею, нахожу себе пищу, покой и сытый за-

пас, которым, пожалуй, и тебя, сосед, радушно попотчую. – А ты, летая в свою какую-то заоблачность, что оттудова приносить изволишь?

ЖАВОРОНОК

Он ничего не понимает – Я пою!.. Я радуюсь!.. Я приношу оттуда мир и наслаждения.

КРОТ

Тьфу пропасть! Да что это за наслаждения: можно ли их взвесить, смерить, продать или спрятать в запас?..

ЖАВОРОНОК

Нет!

КРОТ

Ну, так уж это сущий вздор! Мой запас пахнет для тебя землею; а твой для меня ничем не пахнет; и не мудрено! потому что он сам *ничего*! так, пустое воображение!

ЖАВОРОНОК

Бедный крот!

КРОТ

Бедный, тощий жаворонок! прощай! прощай!

ЖАВОРОНОК

Бедный *жирный* крот, прощай!

Кто же прав? кто виноват?..

ОПЫТЫ
ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХЪ
ОПИСАНІЙ
ВЪ СТИХАХЪ.

Опыты иносказательных описаний в стихах

Оглавление

97
—
I
Подражание

Златое солнце догорало,
И гаснул пышный летний день;
Светлели голубые своды
И мир сиял на небесах;
И тихо отражали воды
Покой небес в своих струях,
Как совесть праведника, ясных!
Зефир над нивой задремал,
И море жатвы не струилось...
И в сей чудесной тишине
Я видел деву молодую:
Она, высоко на скале,
Под сосной древнею стояла,
Едва касаясь до земли;
И грудь под дымкой колыхалась,
И семиствольная свирель
К устам рубиновым прильнула.
На светлых пламенных очах,
С любовью к небу возведенных,
И на челе ее младом
Высокая сияла дума.
И, мимолетная краса,
Она как будто ненарочно,
Остановилась на земле.
Поля и долы оглашались
Певицы песнею святой.
Она, казалось, соглашала
С музыкой горней свой напев...
И каждой звук ее был сладок,

Как первый счастия обет;
Как первая улыбка славы;
Как заслуженная хвала;
И был заманчив как надежда
Для пылкой молодой души!
Обвороженный дивной песнью,
Я весь был слух, и весь восторг.
Но гаснул день... Златое солнце
Тонуло в дальних облаках,
И за туманом серебристым
Она сокрылась как мечта...
Ее уж нет... Но песнь святая
Еще жива в моей душе!
Еще в часы златых мечтаний,
Все те же звуки слышу я;
И всякой раз, в восторге пылком,
Хочу друзьям их передать;
Но непослушная мне лира
Другие звуки издает!

Так, подражатель безуспешный,
Я, видно, небом осужден
Не выражать и половины,
В моих безрифменных стихах,
Того, что чувствую, что слышу,
Когда в душе моей горит
Восторг святого вдохновенья
И весь я полон сладких дум.

II
Сон

Я кем-то был вознесен на острый верх скалы, –
Так мне в младенчестве приснилось, –
Кругом меня дробилися валы
И море бурное пенилось,
И, с воем, стадо чуд кругом скалы теснилось;
Огонь горел у них в очах!
Я был один – и весь был страх;
И сердце в молодой груди чуть билось.
И милой жизни я сказал: прости!..
Вдруг пылкий огнь в мои втеснился жилы,
И кто-то мне орлины придал крылы
И громко возопил: «Лети!»
И я, под светлыми летая небесами,
Смотрел на мир спокойными очами
И видел землю с высоты:
Там реки в дальние моря бежали;
Там грады пышные, там области лежали,
И в них кипела жизнь, шумели суеты
И страсти бурные пылали...
Но полн я был святых, высоких дум!
И я в земной мятеж не опустился
И с прахом, от земли летящим, не смесился,
И слышал лишь вдали – земной тревоги шум!

III
Нездешняя гостья

Плывет величаво
По синему небу
Серебряный месяц...
И зорю сменяют
Вечерние звезды.
И дремлют, насупясь,
Высокие сосны.
Туман застилает
Широкое поле.
Все пусто, безмолвно
И в замке нагорном,
И в ближней дубраве,
И в дальних долинах.
Прелестная дева,
Пряма, величава,
В одежде белейшей
Туманов вечерних,
Как дух благодатный,
Как горняя радость,
Как житель бесплотный
Надзвездного града,
Одна, молчалива,
Под ветлою ивой;
И к персям прижаты
Лилейные персты;
И смотрят недвижно
Лазурные очи
На месяц унылый...
Часы пролетали –

И звезды погасли,
И вспыхнуло утро
На темном востоке,
И скоро не стало
Под ветлою ивой
Красы молчаливой...

IV
Перелетная птичка

Скрывалось за горы
Роскошное солнце,
И долгий день летний
Угаснул, и вечер
Настал с тишиною,
И в воздухе душно!..
Зарница играла
По нивам волнистым,
И сизая туча
Вдали загоралась;
Далекое эхо
В горах рокотало...
Я в роще тенистой
Дышал ароматом
Цветущего луга.
Вдруг птичка слетела,
Не знаю откуда,
И, зыблясь на ветке,
Запела уныло,
Уныло – и сладко!..

Я весь стал – вниманье,
И весь – упоенье:
Душа разрывалась
От песни унылой;
Душа восхищалась
Унылою песнью...
И отзыв далекий
Друзей отлученных;
И память о прошлом,
О днях невозвратных
Бывалого счастья;
И стоны разлуки,
И шепот предчувствий,
Грядущего тайны –
Все, все выражала
Волшебная песня
Чудесной певицы...
Мне виделось: месяц
Стоял недвижимо
И звезды, внимая,
Горели яснее,
И грохот нагорный
Затих!.. и в забвеньи
Сидел я до утра,
Мечтая о небе...
Певица все пела,
Но, вместе с росою
Подъемлясь все выше,
Как искра угасла,
В лучах утонула!..
Откуда ты, птичка,
Небесная радость!

Где край тот далекий,
В котором ты, прелесть!
Гостишь неотлетно?
И, странник печальный
В сем мире мятежном,
По сердцу мне чуждом,
Услышу ль опять я
В безмолвии ночи,
Залетная гостья!
Твой голос чудесный?
Иль раз только в жизни
Он смертному слышен?

V
Нездешние дети

Детей привезли из чужой стороны.
Лелеют и нежат заезжих гостей;
И дети растут не по дням, по часам,
И с ними любезность и разум растут:
Приветливы, милы, ко всем хороши,
И всех они любят, и любят их все!
И все к ним: «Ах! долго ль нам с вами пожить?
О милые братья! Останьтесь у нас!»
И дети в ответ за любовь, за привет:
«Мы рады, мы любим душою ваш край;
Но мы ведь *нездешние*, – мы с чужой стороны –
Сего дня, иль завтра, за нами пришлют -
Не знаем откуда? – Но знаем, что нас

Отец ожидает в иной стороне...»
И вот уж им чужды забавы – и все,
Что прелесть, что счастье безоблачных лет:
Печальные гости у жизни младой,
Как будто чужие в семействе людей!
И вот одиноки, особясь, в тиши,
Украдкою слезы прощальные льют
И пристально смотрят на синюю даль,
И слушают, – будто им кто-то шепнул
О близком отъезде унылую весть...
И близок был, близок отъезд роковой!
Однажды, с рассветом прекрасного дня,
Их видели бодрых; играла в них жизнь,
Играла, кипела веселая кровь...
Но к вечеру тише и тише, и вот
Лежат, как волшебным окованы сном,
С улыбкой надежды на бледных устах.
За ними приехали... Почивших везут...
Ах! горько заплакали о милых друзья!
Идут, провожают... «Куда вы от нас?»
Зовут безответных... Но голос к ним был:
«Они ведь *нездешние*! Вы знали про то;
Остаться ль им вечно в чужой стороне?
Нет! мило Отцу их в объятия взять:
Им путь не далекий, покоит их сон,
И скоро для счастья, для вечных утех
В дому у *родного* проснутся они».

VI
Сирота на чужбине

Сирота вырастал на чужой стороне,
И вместе с ним воля росла. И кому
Сироту на чужой стороне остеречь?
Он сам себе старший, сам волен во всем!
А бедное сердце кому сберегать?
Оно уж проснулось! тоскует – и вот
Забилось сильнее... и юноша стал,
Как *новый*, и сам непонятен себе:
Как рой, зашумели живые мечты,
И ласково вьются надежды к душе,
И прежней прохлады не стало в груди!
Спокойные взоры желаньем зажглись,
И слышны порывы страстей молодых;
И вихрем по жилам горячая кровь!
И вот на *распутье* стоит сирота!
Тут жизнь молодая, с улыбкой, его
На пир зазывает... Открыт ему мир:
И веет и дышит любовью весна;
Кипит наслажденье на юной земле;
Но светлы, спокойны над ним небеса,
И тих благодатный, приветный их вид,
И кажется, что-то душе молодой
Они обещают... Но буря страстей
Взвилась и затмила сиянье небес –
И неба не стало для юноши... Весь
Он земной и в *земном* его цель бытия.
И, жаждущий чашу утех осушить,
Он любит с толпою друзей молодых
И в милой беседе лукавых Сирен,

Напенивать кубок кипящим вином,
И, чашею часто о чашу стуча,
Крылатую радость ловить на лету!
Он пылок, он бешен в желаньях своих;
И, диким восторгом и блеском очей,
В смятенье приводит стыдливость. И дев
Ланиты невольным румянцем горят!
«Пируйте, о други! доколе в нас кровь
Кипит, как златое в фиалах вино:
Нет жизни за гробом... Пируйте, друзья!»
Так было... Но скоро он стал изменять
Зазывам в беседы веселых друзей
И ласкам красавиц... и стал он *иной*.
За ним примечают, его стерегут
И видят однажды, в ночной тишине,
Безоблачный месяц, плывя в небесах,
Кого-то, казалось, ведет к сироте.
И то была дева, как пальма стройна:
В ней все незнакомо и чудно в ней все!
Не стелется зелень, трава и цветы
Не гнутся, под легкою девы стопой,
И шороху нет от шагов; и за ней,
О чудо! не видно и *тени* ее!
Но вся она прелесть и вся красота:
Сияет, как радость, младое лицо,
И что-то приветное шепчут уста,
И ласковы взоры очей голубых!
Пред ней, в упоенье, безмолвный стоит:
Он с гостьи прелестной не сводит очей,
И ею лишь дышит и ею живет,
И черпает радость в беседе святой.
Слова их не слышны, но часто *она*

На светлые звезды с любовью глядит,
Как будто о небе беседуя с ним.
Так было; но только зажглася заря
И вспыхнул, на темном Востоке, рассвет,
И месяц, скатившись за горы, погас;
За месяцем тихо, нагорной стезей,
Нездешняя гостья ушла! И никто
Не знал и не знает откуда *она*?
И все изменилось в душе *сироты*:
Все тихо, как в небе, в сей бурной душе!
Он тайну рожденья узнал своего
И вести услышал о той стороне,
Где ждет его скоро *иная судьба*!
Уж боле не гость он на шумных пирах,
Не брат, по забавам, счастливцев младых:
Он выше земного... И мило ему,
В тиши, одиноким, смотреть в небеса,
И душу высокою думой питать.
Так было... Но скоро не стало *его*!
Нагорным путем он ушел – и с тех пор
Его не видали!.. Не знали о нем,
Откуда и кто он? Но только был слух,
Что славного рода потомок он был;
Что кто-то, как слышно, из предков его
На дальнем *Востоке*, в родном их краю,
Был первым любимцем и другом Царя.
Но вскоре, несчастный! высокой судьбе
Своей изменил! – Он изгнан – и Царь
Во гневе великом завет положил
На весь его род и на племя... Завет:
Сиротами скитаться, в чужих сторонах,
От родины милой далеко... Когда ж

Узнает из них кто о прежнем былом,
Проведает тайну природы своей,
Постигнет, полюбит *высокий свой сан*;
И тайною грустью душа заболит,
И станет проситься к родной стороне:
Он тотчас, могущим веленьем Царя,
На прежнюю степень величья взойдет
И, радость! узнает в Монархе – *Отца*!

VII
К ручью

Ручей, сосед мой милый,
Любимый сын весны!
О чем грустишь и стонешь
В час общей тишины?
Денница ль молодая
Румянит твой кристалл,
Иль звезды золотые
Глядятся в твой поток;
Ты все журчишь печально...
О чем же, друг! грустишь?..
– «Ах! как мне – отвечаешь, –
На рок мой не роптать!
Кто я? *отколь*? – не знаю!
Безвестен жребий мой!
Не ведаю, *откуда*
Я в мир явился сей,
Зачем, куда так быстро
Несусь из дальних мест?
Не знаю! – И в незнанье

Невольно я грущу.
Я зрел, в моем теченьи,
В безмолвии пустынь,
Истлевшие дубравы,
Развалины градов...
И тленность на гранитах
Закон писала свой:
– “*Всему предел положен,*
Все гибнет под луной!”
Закон сей непреложен,
Я ведаю; – и кто ж,
Кто грустного утешит?
Кто скажет мне, *куда*
Влекусь безвестной силой,
И кем, и для чего?
Чья мочь меня взносила
На грозны высоты?
Чья сила низвергала
С высот в глубокий ров,
И где и скоро ль бег мой
Прервется наконец?
Конец!.. Меня смущает
И мысль одна о нем,
Погибну ль я навеки
Во глубине песков,
Или *путем подземным*
На новые луга
Прольюсь в волнах веселых?..
Увижу ль я опять
И утро молодое,
И милую зарю,
Иль вечную могилу

Готовит мне земля?»
– Оставь свои сомненья,
Ручей, печальный друг!
Не может быть загадкой
Твое теченье нам;
Мы – *люди* – видим ясно,
Твой бег, твою судьбу,
И сам я видел горы,
Где колыбель твоя;
И знаю ту долину,
Где бег окончишь свой...
Но верь мне, не исчезнешь
И *в устье* ты своем:
Из пропасти подземной,
В веселые луга,
Счастливец! ты польешься
С волнами светлых рек.
Теки, – не сумневайся!
Святой храня закон,
Чтоб течь на пользу ближним
Долинам и садам.
Замолк ручей; – но ропот
Послышал я в груди:
И грустно стало сердцу,
И дух смутился мой,
И мне как будто *кто-то*
Невидимо шепнул:
– «И жизнь твоя не есть ли
Таинственный ручей?
Ты в буре дней несешься
Как ток с гранитных скал...
Отколе ты, пришелец?

Куда отсель пойдешь?
Уже ли за могилой,
Всему... всему конец?..»
Так мыслил я унылый,
В волнении души.
Но вдруг послышал шорох
Незримых легких крыл:
И что-то светлой тенью
Мелькнуло близ меня,
Повеяло блаженством
В тоскующую грудь
И голосом сладчайшим
Дыханья юных роз
Мне в сердце прошептало:
– «О, слабый человек!
Красней! стыдись сумненья,
И твердо уповай
На мудрость Провиденья!
Когда его перстом
И путь ручью простому
Начертан на земле:
– "То можешь ли подумать,
Чтоб был забыт им ты?.."
Вы путь ручья *отселе*,
Мы смертных жизни путь
Оттоле видим ясно...
И ты, ручей *живой*,
Теки – не прилепляясь
К цветущим берегам!
Теки не ужасаясь
Ни терний, ни стремнин!
Не бойся бурь житейских,

Храня святой закон,
Чтоб течь на пользу ближних
И жить для их добра.
Ручей равно питает
И гордые древа,
И розу молодую,
И колкий терн седой...
И даже самым камням
И каменным скалам,
Ласкаясь к ним с любовью,
Полезным хочет быть.
И в час кипящий зноя
Прохладой плещет им.
Его учась примером,
И *недругам своим*,
Как искренним и ближним,
Равно твори добро.
Теки, не сумневайся:
Есть Око над тобой;
И ведает и мерит
Оно твой путь земной...
Теки, сквозь бури жизни,
Как *кроткая звезда*
И сквозь печальны тучи,
Лиющая свой свет...
Для польз, для счастья ближних
Теки, живой ручей!
И скоро чрез могилу
В небесные поля
Прольешься в полном блеске
В безвестный, новый мир!»

VIII
Отлетная птичка

– Что тебе надобно,
Милая птичка?
Зачем торопливо так,
Все далее... Далее...
Куда пролетаешь ты? –
Куда ты спешишь?
И что тебе надобно,
Гостья весны? –

«Я не жилица здесь,
Я не для вас:
Я здесь залетная
Гостья на час!
Все, что мне надобно,
Есть у меня!
Два, да три зернушка –
Я и сыта!
Свежая веточка –
Вот и приют!
Было б где только мне
В бурной ночи,
Смирно прижавшися
К ветке, уснуть!
Было б где только мне
Тихий рассвет,
Зорю румяную
Громко воспеть!
Где ж я вечернюю
Зарю повстречаю,

Ф.Н. Глинка

Близко ль, далеко ли,
Сама я не знаю!»

Зачем же в незнании
Никем неведомая,
Зачем увлекаешься
В долины далекие,
В поля неизвестные? –

«Ах, там в неизвестности
Мне чудится счастие?..
Кто-то так сладко
Все меня кличет
В рощу, из рощи?..
Кто зазывает так,
Кто так манит?
Кто напевает мне,
Кто мне сулит
Радости вечные
Вечной весны
В крае нездешнем
Далеком? туда,
Туда все лечу я
За тайным зазывом,
За милой приманкой...
Не спрашивай: где он,
Мой край неизвестный!
Не знаю – но верю!
Что будет, то будет!
Я все полечу
За гласом знакомым
В незнаемый край!..

Кто небо раскинул
Высоким шатром,
Кто звезды поставил,
Кто солнце зажег;
Кто реки уводит
К далеким морям,
Тот верно и птичку
Проводит... Он мил мне,
Неведомый край!
Что будет, то будет,
Я все полечу
За гласом знакомым
В незнаемый край!»

IX
К душе

Душа моя странница!
Нездешняя гостья ты!
И, чуждая в мире сем,
К чему здесь прилепишься
И чем очаруешься?
Ты птичка отлетная!
Порхая по радостям
И, сил не теряючи,
Под тернами горести,
Летишь ты все далее
По гласу призывному...
Из пропасти черныя
Безверия дикого

Высоко подъемлются
Туманы сомнения;
Но ты облетаешь их
И в свете негаснущем
Цветешь как бессмертная!
Отдайся безвестному
Влечению тайному,
Лети с упованием...
И, гостья минутная
Земли сей мятежныя,
Не медли за счастьем здесь:
В земном не найдешь его!
И счастье и радости
В небесном скрываются.
Ах! странница сирая,
Ни с кем не родная здесь,
Тут все тебе пагуба:
Тут страсти условились
Ловить тебя бедную
И свежими розами
Одели, украсили
Пещеру змеиную
Порока лукавого;
И вот он, сверкаючи
Кинжалом и взорами,
Ждет добычи... Бедная!
Лети, воспеваючи
Хвалы Провидению,
Хранителю тайному,
Туда – из цепей земных
В отечество милое,
В объятия Вечного!..

X
Гостья ненадолго
(к Дориде)

Дорида! ты свежа, как молодой цветок;
Твой стан, как стебель розы гибкой;
Как ты мила своею детскою улыбкой,
Легка, как на лугах душистый ветерок.
Волшебница! кругом тебя очарованье!
Он сладок мне, как жизнь, с тобой свиданья
час!
И груди молодой, под дымкой, трепетанье,
И тихий свет прекрасных глаз
(В них *что-то* милое, небесное светлеет),
И русые власы... и все в тебе краса!
Но пред тобой желанье цепенеет,
И страсть к тебе чиста, как небеса.
Моя душа твою, Дорида! душу слышит:
О друг земной! в тебе небесный ангел дышит,
Он прилетел с надзвездной вышины
И, притаясь, живет под тленной пеленою.
И от тебя, как от младой весны,
Мне веет негой неземною...
Но, милый друг! мне в мысль приходит иногда,
Что на земле небесное непрочно,
Что ты у нас как будто ненарочно
И что зовут тебя – *туда*!..

XI
Фиалка

Зачем так рано блекнешь
Ты, первенец весны,
Прекрасная фиалка!
Мне грустно за тебя!
О, как неправо небо!
Зачем оно дарит
Красавицу долины
Минутным бытием?
Жестокое!.. «Как смеешь
Ты небо обвинять?..
Его дары святые
Осыпали меня!
На зов его приветный
Не я ли расцвела,
И, гостья молодая
На празднике весны,
Росла и красовалась
В тени душистых лип?
Не мне ль сосед игривый
Серебряный ручей?
В его кристальном токе
Видала я зарю,
Когда она, как роза,
Алела в небесах.
И звезды золотые
И светлая луна
С любовью навещали
Меня в моей тиши;
И я пила блаженство

Из солнечных лучей!
Ах! я была вся радость,
Когда сходил ко мне,
Как друг, прохладный вечер
С небесною росой!
Чего ж еще мне боле?
Со мною все сбылось:
Жила, благоухала,
И жизни цель узнала,
И вот пришла пора
Проститься с милой жизнью
И тихо опочить!
Пора! они уж гаснут
Златые лета дни...
Так что ж? шумите с неба,
Осенние дожди!
Дохни суровым хладом,
Свирепая зима!
Я знаю, в том же небе
У Бога есть *весна*:
Она повеет жизнью,
И – я опять проснусь!»

XII
Гений

Нарисуй мне Гения
Бледного, унылого
И с челом развенчанным.
Вижу, плачет Гений твой,

Преклоненный на руку,
И златые волосы
В локонах рассыпаны;
Все кругом – молчание!
На небе ни звездочки!
И погашен пламенник
Бурею пустынною.
Нарисуй богиню мне,
Нарисуй волшебницу
Резвую, прелестную:
Дай ты ей лазурные
Крылья мотыльковые
И одежду белую
Из туманов утренних;
Подари ей алую
Розу, вечно юную.
Пусть твоя волшебница
Иль богиня милая,
Как богиня призраков,
Светлая фантазия,
В разных дивных образах
В мире появляется:
То вечерней звездочкой
Вспыхнет в дальнем сумраке
Над пустыней дикою;
То, знакомым голосом,
Кличет утомленного...
То, за темной рощею,
В час полудня знойного,
Зажурчит и по полю
Побежит, сверкаючи...
То за синей тучею

Свежим блеском радуги
Светит, улыбаючись...
То быстрее молнии
Возлетает на горы
И блистает девою
Стройной, величавою
И зовет унылого
Голосом и знаками,
По пути тернистому,
В новый край неведомый
К людям – в даль туманную,
В области, кипящие
Жизнью и заботами...
Кто же, друг мой, Гений твой?
Как назвать безвестного?
Отгадай, придумай ты;
А твою богиню я
Назову – *надеждою.*

XIII
Три розы в пустыне

Посреди пустынь унылых,
Где сердитый ток шумит,
Три цветка, три розы милых
Бесприютный странник зрит.

«Розы! розы! дар небесный!
Вы пу́стыни жизнь и свет!
И красавицам прелестным
Он и сердце и обет!»

Ф.Н. Глинка

«Здесь, – сказал он – в диком мире,
Пленник вашей красоты,
Пропою весь век на лире,
Славя дружбу и мечты...

Грозной цепью гор стесненный,
Пусть не зрю полей и нив:
Здесь, в беспечности, блаженный
С вами друг ваш – и счастлив!»

Что же смертного желанья?
Что мольбы, что счастья луч?
Сны крылаты, тень, мечтанья,
Блеск огней под мраком туч!

Буря с севера завыла,
Зашаталися леса;
Ночь пустыню обложила;
Темны, страшны небеса.

Из-за гор уединенный
Месяц красный в тучи вплыл;
Ветер, пленник скал стесненный,
Застонал, и бор завыл!

Что же вы, младые розы?
Странник, слыша бурей стон,
Не боится бурь угрозы:
С вами, вами счастлив он.

Но ужасное мгновенье!
Вихрь летит и розу рвет:

Вот другое дуновенье:
И другой, и третьей нет!

Вот они в волнах суровых...
«Стой, ручей! отдай мне их;
Где цветов искать мне новых?
Тонет счастье дней моих!»

Так, познав сей жизни грозы,
Беден, сир и одинок,
Так и я хотел три розы
Вплесть в мой терновый венок.

Всех алее – *роза-радость*,
Всех милей была *любовь*
И надежда, жизни сладость!..
Долго ль зрел сих блеск цветов?

Притекли мятежны лета:
Радость – вихрь страстей унес!
Вот любовь, – в пустынях света
Роза жизни, дар небес...

Я мечтал, – но все минуло:
Радость, счастье и любовь;
Все в прошедшем потонуло...
Будь, надежда, мой покров!

Если ж вырвут и надежды
Бури жизни у меня:
Смерть! сомкни тогда мне вежды
И возьми, земля, меня!

XIV
Пруд и капля
(аполог)

Заглохший осокой и весь, как паутиной,
Подернутый зеленой тиной,
Дремал ленивый пруд. В звездах лазурный свод;
Но жалкий он слепец, не видит звезд мерцанья,
Ни ласковой луны приветного сиянья.
И долго было так, но вот
Наскучил он сносить светил пренебреженье;
И, потеряв последнее терпенье,
Языком вод заговорил,
И близкую свою соседку он спросил –
Соседку капельку, что на листок упала
И ясной звездочкой, качаяся, сверкала:
«Что за счастливица ты, капелька, у нас?
Так светишь, так блестишь, ну словно как алмаз!
Тебе и солнце угождает:
Вот, сжавшись все, в тебе, как в зеркале, сияет!
По солнцу ль зеркало! – Я сажен пять в длину,
Да три, а может быть и больше, в ширину;
Однако ж все во мне не видны горни своды;
И хоть бы раз луна в мои взглянула воды!
Скажи, пожалуйста, любимица светил,
За что же я им так немил?»
А капелька в ответ: «Давно я это вижу,
– Сказала б, да боюсь: я, может быть, обижу!»
– «О нет!» – «Так слушай же: причина тут проста:
Ты засорен – а я – *чиста*!»

XV
Вихрь и зефир
(аполог)

«Смотрите! – вопит вихрь, взвивая прах летучий,
Я все, что захочу,
Сорву, развею, размечу!
На свист мой прилетят послушные мне тучи;
Я в полдень солнце заслоню,
И пыль столбом чрез степь и горы погоню...
Как я силен! С какой везде являюсь славой:
Шатаю лес, трясу дубравой –
Дохну – и лоском ряд дубов!
А ты? Что можешь ты, бессильный сын лугов?»
Так вихорь укорял зефира.
«А я – усердный друг и тишины и мира,
Я только радую – тобой смущенный мир!»
В ответ суровому приветливый зефир:
«Лаская луг младой и древнюю дубраву,
Я в том мою лишь вижу славу,
Чтоб в полдень подышать на липовый лесок,
По роще пробежать струею ароматной;
Повеять жизнью благодатной
На увядающий в глухих степях цветок
И весело потом играть под небесами...»
Кто ж вихорь? Кто зефир? Друзья, узнайте сами!

XVI
Гроза
(идиллия)

В укромной хижине отдыхает старец-дед; а молодой внук его смотрит на действие грозы и рассказывает по-своему, что видит.

ВНУК (отпирая окно)

Дедушка, буря встает! Небо, как ночь, почернело!
Там, над зáмком высоким, сходятся синие тучи...
Дедушка! Красные длинные молнии блещут, сверкают
Ярко. И вот, посмотри: зашатались старые дубы.
Вон, из кровель листы, как соломинки, рвет и уносит;
Весу в железе не стало! Буря сильнее, сильнее.
Дедушка – свет! Посмотри-ка – рухнула черная башня!

ДЕД

Что нам до башен, дружок мой! Что нам до туч и бури?
Буря – гибель зáмкам... Что ей у нас? – Не велика
Хижинка наша... Смотри: ведь она под горою, в долине,
Смирно, прижавшись, сидит в уголке – и не видно уютной!..
Бури, громы – все мимо!.. Пусть себе ссорятся с ними
Дубы спесивые, Княжеских зáмков верхи с позолотой!..
Много там золота, друг! и грехов, говорят, у них много!..

ВНУК

Дедушка, страшно мне! страшно! Гроза
разгорелась; все небо
Пышет! А там, посмотри-ка, голубчик! над
за́мком – туча,
Сжавшись, повисла, как коршун... Ох быть
тут беде, и великой!..

ДЕД

Полно, молися, дитя!.. Грозы ты не бойся! –
Гроза ведь
Праздник небесный!.. Злодей от грозы и дрожит
и бледнеет;
Доброму ж чистая *совесть* приветливо шепчет:
«Не бойся!»

ВНУК

Батюшка, дедушка! Вон загорелись и за́мок
и стены...
У!.. как столпом поднялось, из-за дыму,
багровое пламя!
Вот – бегут... кричат!.. тени, все тени
мелькают...

ДЕД

Божий суд, дитя!.. Ведь в за́мке том много
и много
Было грехов!..

Успокоилась буря; веселое небо
Стадо на луг вызывало; развалины замка
курились...
Хижина ж все как была! и кругом ее птички
щебечут.

XVII
Ночной страх

Зачем ты огненные очи
Так пристально уставил на меня?
О, сын таинственныя ночи!...
Иди в чертоги к богачам,
Где мягкий пух лелеет негу;
Иди пугать рабов порока и страстей,
Слепых сынов – слепой фортуны...
Давай, грозя мечтой, урок смиренья там!
Но не ходи в мое уединенье!
Мне после дневных скук, за смутное волненье,
Как сладок безмятежный час!
Беги от моего непостланного ложа,
Где жесткость так мягка спокойному душой!
Оставь со мной мою младую музу,
В душистом розовом венке,
Пускай она, возвышенным языком,
На звезды ясные вперяя светлый взор,
Поет о радостях нездешния отчизны...
Оставь со мной моих гостей:
Пускай любовь – сомкнет усталы вежды;
Пускай веселые надежды,
Мечтаний легкокрылых рой,
Осыплят сонного и лаской, и цветами,
Доколь малиновка засвищет за кустами
И встанет солнце за горой!

XVIII
Тайная весть

Была весна, и рощи только
Оделись зеленью младой,
Еще не раскрывались розы;
Но запах северной березы
Как дым кадил благоухал;
Туманы землю пеленали,
И Ангел ночи зажигал
Над ней небесные лампады, —
И сеял перлы по лугам...
Я полон был святого чувства,
Ему в земном названья нет!
Вдруг *что-то* свежестью дохнуло!
Как будто *кто* махнул крылом!
Кто подлетел, незримый, к сердцу?
И стала грудь моя тесна,
Как перед летнею грозою!
Кто там, крылатая, за мною?
Но все исчезло, как мечта!
И небо, все как прежде, ясно;
Как прежде, ясны озера;
Но чувство темной, смутной грусти
Глубоко в сердце залегло.
И кто-то шепчет мне уныло:
«Ее уж нет! – Ее уж нет!»
И более не стало милой!
Она была у нас на миг!
И торопилася в отчизну...
Где ты, о Юлия! теперь? —
Но вот она, как гостья неба,

На ясных радужных полях
Гуляет с Сильфами младыми
И о земле им говорит...
О! дочь прекрасныя Тавриды!
Тебя лелеял тихий Юг.
А я на Севере унылом,
Одной тобою весел был!
И это ты меня коснулась,
Когда летела в небеса!
Исчезло дальнее пространство,
И я восторженной душой
Твою, на миг, послышал душу!..

XIX
Возвращение невозвратимой

Весна моих воскресла лет;
Играют чувства, веет радость,
И новой жизнию цветет
Моя тоскующая младость!
Затихнул шум моих тревог,
И вся душа моя – восторг!
Она – сей гость, давно
бывалый, –
Как прежде, в грудь ко мне идет;
Но, ах! там прежнего не стало:
Того уж сердца не найдет!
Все бури жизни в нем кипели
И дымный огнь страстей пылал,

И там пороки свирепели,
Где светлый трон ее стоял!
Приди ж, мой гость, издавна милый,
Мой добрый ангел прежних дней,
И оживи мой дух унылый
Небесной ласкою своей!
Увы! С тех пор, как был с тобою,
Уж стал и сам я не собою...
Все в жертву людям и судьбе!
Одна светла осталась совесть.
Пусть сердце грустное тебе
Само свою расскажет повесть. –
Мечты рассеялись, как дым;
От слез отяжелели вежды,
И не сбылись мои надежды!
Как много летам молодым
Они хорошего сулили!
Как сладко с сердцем говорили!
Но сладость та была – обман!
С тобою все мое сокрылось,
Как солнце в горы, закатилось,
И на душе лежит туман...
Но ты идешь... Душа светлеет,
И все весною жизни веет!
С тобою твой волшебный мир
Ко мне так сладостно теснится,
Как будто небо в грудь ложится!
Я пью заоблачный эфир...
Людской измученную злостью
Ты душу зазовешь, как гостью,
На свой великолепный пир.

На миг обласканный тобою,
Уж примирился я с судьбою!
Весна моих воскресла лет;
Играют чувства, веет радость,
И новой жизнию цветет
Моя тоскующая младость!

XX
Усладова лира
(баллада)

Верна была Усладу лира
  В его тиши;
Он променял все блески мира
  На мир души!
Он не позорил чистой лиры
  И, лести враг,
Пред вами, грозные кумиры,
  Не падал в прах!
Но растерзав земные узы,
  К звездам летел;
И, пылкой друг свободной музы,
  Он сладко пел:
Великолепную природу
  И дивный свет,
Души высокую свободу –
  И был Поэт!
И добродетель в песнях громких
  Прославил он:
«Узнают ли о них потомки?
  Все в мире сон!» –

Так говорил не раз унылый:
«Здесь все на час!»
И не допевши песни, милый
Поэт угас!
Но весь не умер он, и *лира*
Еще стройна;
И только в области эфира
Взойдет луна
И струн дотронется лучами,
Дрожат оне –
И вспыхнет жизнь на них – и сами
Поют одне!
Как прежде – все поют природу,
Добро поют;
И удивленному народу
Урок дают!
И лиру розами венчали,
Дивяся ей,
И благовонней розы стали,
Цветя на ней!
И вот кругом градов обломки,
Их блеск погас!
Но слышат все еще потомки
Той лиры глас!

XXI
Перемена
(к Глицерии)

Глицерия! твой друг тебя не узнает:
Что шепчешь, с лаской, мне приветными устами?

Зачем кругом тебя ласкателей народ!
Нет! ни твоя глава, увитая цветами,
Ни в соке роз потопленны власы
Меня в твои не завлекут оковы.
Где недоступные твои красы?
Где скромный, светлый взор, для дерзкого суровый?
Где делася души святая тишина,
Невинность милая, как счастье неземное?
Ты вся страстей и суеты полна!
Ах! где твое прекрасное былое?..
Какой преступный огнь горит теперь в очах,
И свежая твоя куда девалась младость,
Когда в твоей душе, как друг, гостила радость,
И тихая молитва на устах,
Как первое благоуханье розы?..
Мила улыбка нам, блеснувшая сквозь слезы:
Так прежде ты была, Глицерия, мила,
Когда младенческой невинностью цвела!

XXII
Соглядатай
(молодому другу)

Эдвин, выходишь ты из детства
И я тебе, мой юный друг,
Высокую открою тайну:
Но прежде с клятвой обещай
О ней глубокое молчанье!

Эдвин, оставь свою беспечность
И зорко за собой смотри!
Мой друг, сказать ли то, что знаю?
Но я хочу тебя спасти –
Узнай: в путях неверной жизни,
Где ты беспечен как дитя,
Ты ходишь не один и всюду
Незримо смотрят за тобой!
И все шаги твои считают,
И весят все твои дела;
И нет уединенья в мире:
Где б ни был *ты*, *другой* с тобой;
Он зорок, невидимец тайный!
И неотступен он, как тень!
Куда б ни шел ты, он, незримый,
Украдкой ходит за тобой.
Но не гони его – и ведай,
Что смотрит он не для себя,
Не по своей он ходит воле:
Он послан... Не пугайся, друг,
Когда невидимого шорох
В тиши услышишь за собой:
И он умеет быть приветным
И душу сладостно ласкать!
Ах, грустно с ним, Эдвин, расстаться –
Что шаг, то гибель без него!
О, юный друг, его, к несчастью,
Так скоро можно усыпить!
Но если б знал ты, как ужасен
Он в пробуждении своем!
Итак, не бойся: пусть он видит
Все тайны сердца твоего:

Смелей, смелей в дорогу жизни:
Не унывай!.. Но не забудь,
Что не один ты в мире ходишь,
И зоркий смотрит за тобой!

XXIII
Минутное посещение

Кто ты, прекрасный посетитель,
Какого мира тайный житель?
Ты весел, призрак молодой,
Как светлый месяц над водой:
Я вижу образ девы чистой;
Она легка, как ветерок,
И на челе ее душистый
Белеет розовый венок!
Ты, миловидная, украдкой
Ко мне нежданная сошла;
И тонет сердце в неге сладкой,
И вся душа моя светла.
Уже ль забвенной лиры звуки
Иль нестерпимы сердца муки
Тебя, мой гость, свели с небес
К моей ладье в пучине зыбкой?
Но грусть снята твоей улыбкой,
И мрак с души моей исчез.
Ты чистою своей рукою,
Зачерпнув жизни в небесах,
Ко мне, убитому тоскою,
Ко мне, утопшему в слезах,

Как луч от ясных звезд, слетела
И улыбалась мне и пела...
И как те песни сладки мне
О неизвестной стороне!
Какие свежие долины
Я видел в синей, дальней мгле
Иль в очарованном стекле?
Твои волшебные картины,
Как светлой юности мечты:
В них, полны жизнью, дышат розы,
Как перси юной красоты!
И, как любви счастливой слезы,
Горит жемчужная роса.
И голубые небеса
Верхи лесов и гор лобзают...
Бывало, часто налетают
К моей доверчивой душе
Мечты о счастии прекрасном,
Когда я в сумраке ненастном
Дремал в походном шалаше.
Ты, дева, золотить любила
Те перелетные мечты,
И ласково с чела сводила
Следы забот и суеты,
И проясняла вид угрюмый
Какой-то сладкой, тайной думой.
С любовью пылкой и святой
Лобзал я пояс золотой
И белую, как день, одежду.
Кто ж ты, приветная краса?
Твой дом какие небеса? –
Но я узнал в тебе – *надежду*...

Ф.Н. Глинка

Ах! погости теперь со мной,
Как прежде с юношей гостила,
Когда мне вести приносила
О сладкой жизни неземной!
Но тени ночи пролетели,
Светила неба догорели,
Настал земной тревоги час –
И дева скрылася от глаз.

XXIV
Мои вожатые

Ко мне прекрасные девицы,
Как гости, с ласкою, пришли
И повели меня младые
С собой в зеленые луга.
Тогда весна ласкала землю,
Все пело радость, все цвело.
Ручьи как будто говорили,
Шептали с кем-то дерева;
Заря, как пламя, разгоралась
На дальней синеве небес,
И ароматный, теплый вечер
Меня кропил своей росой,
Как милая любви слезами.
Ходили долго мы в лугах;
Все было ровно перед нами.
Я не видал стремнин и гор.

И привели меня девицы
В палаты пышные с собой;

И сами белыми руками
Мне постилали мягкий одр,
И сожигали ароматы
Кругом в кадильницах златых;
И подносили мне в покалах,
Как радость, светлое вино;
И тихо милые шептали:
«Усни, счастливец молодой!
Будь верен нам, мы будем долго
Тебя лелеять и беречь!»
И я уснул – и в сновиденьи,
Ничем не связанный, как мысль,
Лечу, несытый, в поднебесной
Из царства в царство – и везде
Меня ласкали, мне сулили
Богатство, счастье и покой,
И я, как гость в пиру роскошном,
Из полной чаши радость пил
И таял в неге... Вдруг раздался
Летящей бури страшный свист, –
Мне показалось, своды неба
Упали с треском надо мной!

И я проснулся! О, превратность!
Еще не верю я глазам...
Где вы, обманщицы младые?
Где светлый дом, где пышный одр,
Где сердцу милые обеты?..
Все было сон – я на скале,
Нависшей над пучиной черной,
Лежал, один, в глубокой мгле!
Ужасно море клокотало,

И яркой молнии бразды
Ночное рассекали небо,
И полосами по волнам,
Как змеи, с свистом, пролетали...

Как мразом стиснутый поток,
Я цепенел... Власы вздымались;
В стесненных жилах стыла кровь,
И замирала грудь... но кто-то
Меня могущею рукой
Отвлек от пропасти кипящей,
Я стал свободен... я спасен...
И он шепнул мне, мой спаситель:
«Слепец! ты над пучиной спал!
И ты погиб – когда поверишь
Еще *надеждам* и *мечтам*!»

XXV
Море

Душа томится в вихрях света;
Мне душен воздух городской;
И я, оставя за собою
Заботы, пыль и тесноту,
Спешу на дикий берег моря –
На зов понятной мне мечты...
Я вижу синее пространство
В его роскошной широте;
И мне повеял ветер свежий,
Как будто с родины моей!

Златое сердце утопало
В волнах багряных облаков,
И флаги алые ходили
Под дымным синевом небес;
И я увидел, как знакомца,
Долину влаги голубой;
И необъятное пространство
Так нравилось моей душе,
Как будто что-то ей родное...
Не знаю... или, может быть,
И знаю... но могу ль сказать
Языком скудным человеков
О том, чей дивный образ нам –
Необозримое пространство!
И почему к себе всегда
Манит фантазию поэта
Румянцем блещущая даль?..
Я слушал плеск валов шумящих
И в беспредельность улетал:
Она была мне как свобода,
Когда она в волшебных снах
Приснится узнику младому...
Я, сладкой свежестью дыша,
Как будто молодел душою;
И, томность светской суеты
Стряхнув с себя, как пыль градскую,
Я весь как обновленный стал!..
Но звезды вечера зажглися,
И с легкой ношей сладких чувств
Я крался сквозь толпы народа,
Робея счастье обронить...

Ах, если б в шуме сих кипящих
Расчетов, выгод и страстей,
Где сохнет сердце, вянут чувства,
Ах, если б век я был так свеж
И так в восторгах беспределен,
Как ты, кого теперь пою,
Долина моря голубая!

XXVI
Отрада земного

Сетьми ловителей уставлена земля:
В них гибнет жизнь души и сладкая свобода;
Но ясны, как любовь, веселые поля
Небес лазоревого свода...
Моя душа летит *туда*,
Душа, с младенчества вскормленная тоскою,
Туда спешит искать высокого покою,
Как птица в тишину родимого гнезда...
Ах! в те края ведет прекрасная дорога,
Чрез область светлых звезд по розовым зарям...
И странница везде, во всем находит Бога
И, как в родимый дом, вступает в тайный храм.
Оттоль, минутный гость, земного житель,
Сходя в сию долину слез,
Приносит в бедную свою обитель
Богатство дивное с небес:

Для сердца пылкого священную прохладу;
И теплит в тишине украдкой от людей,
Под бурною грозой воюющих страстей,
Святым огнем зажженную лампаду...

XXVII
К ночи

Приди, о ночь! приди ко мне,
Как на условное свиданье!
Пусть гаснет пылкое страданье
В твоей прохладной тишине!
Ты, сизою своей одеждой
Окутав бедную постель,
Уложишь спать меня с надеждой...
Я сплю... И тайная свирель
Играет где-то дивны звуки:
И не она ль манит мечты?
И не она ль отводит муки?
Кто вас, воздушны красоты,
В приют тоски моей сзывает?
Кто так природу украшает
В моих заплаканных глазах?
Каких небес я вижу своды?
Картины счастья и свободы,
Лимон и лавры на холмах...
Но шум вломился с суетою,
И прочь с очей мечты и лень...
Опять идет мой грустный день
С своей несносной долготою!

XXVIII
Видение в луне

Заря, алея, угасала
Вдали, мелькая сквозь леса;
И тихая вечерняя роса,
Как благодать, сошла и засияла!
И день протек с кипящей суетой.
Все ароматами и негою дышало;
Но мне чего-то все недоставало:
И я страдал – сердечной пустотой.
Вдруг вся душа моя мятется и пылает...
Ее зовут с эфирной вышины!
И вот прекрасный круг безоблачной луны!
Она из-за лесов, как лебедь, выплывает,
И в ней горят черты знакомой мне красы;
Эльмира! это ты, в своем жилище новом!
Твои волнистые власы
Смешались с голубым твоим покровом...
Задумчивая! что мне скажешь ты без слов?
Что скажут мне твои уныло-хладны очи?..
Но ты скрываешься, как легкий призрак ночи,
В серебряном дыму летящих облаков!

XXIX
Старец

Окончив тяжкую работу
Заботной, грустной жизни сей,
Он празднует свою субботу
В спокойной совести своей!

Он знает счастия обеты
И мрак изгибистых дорог,
И что сулят кипящи леты
В мятежной области тревог.

Он отжил для подлунной жизни,
И часто в дивных, сладких снах
Он видит прежний край отчизны
В каких-то дальних сторонах.

Окончив тяжкую работу
Заботной, грустной жизни сей,
Он празднует свою субботу
В спокойной совести своей!

XXX
Дитя, спящее во время пожара

Как мило ты, прелестное дитя!
Все рушится и страшно затрещало!
И небо заревом кровавым запылало.
И пламень, с шумом охватя
Великолепные колонны,
Дела времен и рук – крушит!
Бегут... Я слышу крик и стоны:
И жизнь и суета мятется и кипит...
Но ты спокойно почиваешь,
О, тихое дитя! на персях у родной;
Ты наших мук не понимаешь,
И, на священный вопль тревоги роковой,
Сквозь сон улыбкой отвечаешь!

Ф.Н. Глинка

И что твоей беспечности святей?
Так милая *невинность* почивает,
Когда, кругом, свирепая пылает
Гроза губительных страстей!

XXXI
Заветная книга

В пустыне далекой был старец седой,
Пещера в утесе – жилище его;
И дуб устарелый и клен молодой
Укромную келью, шумя, осеняли,
И теплилась тихо на сумрачном своде
Лампада; в средине налой, и на нем
Лежала, как тайна, *заветная книга*;
И к ней только старец один прикасался.
Три части вмещала та книга в себе;
Три разные ленты те части делили.
Как свежая роза, алела одна;
Другая, как небо, была голубая;
Но черная третья – как врана крыло.
И с каждым рассветом пустынник-мудрец
С почтением к книге заветной подходит
И лист, но не боле, читает один.
И он уж за черной прочитывал лентой, –
Не много ему оставалось читать!
Читает – и, книгу со вздохом закрыв,
Идет он, склоненный в глубокую думу,
Как будто прощаться с природой. – Так
мирно

И тихо в нем жизнь погасала, как день
На ясном, безоблачном небе. – И вот,
Пришел к нему гость из мятежного света:
То юноша свежий, как цвет молодой;
Румянец пылал на лилейных щеках,
И светлые искры сияли в очах,
И кудри играли вкруг шеи прямой.
«Отец! благодатью святой осени
Пришельца из бурного света. Открой
Высокую тайну, скажи мне, мудрец:
Как в мире мятежном без бури прожить?
И где обитает блаженство? скажи:
Где с пылкой душою я счастье найду?
Пусть мудрости хладной созрелый совет
Кипящую жажду в груди утолит!
Напой меня светом вещаний святых:
Открой, благодатный, мне тайны судьбы
И жизни науку!» И старец в ответ:
«О посланный сердцу наследник младой!
Приди, мой желанный! и тайну прими,
Высокую тайну... В сей книге она:
Вся жизни премудрость в сей книге святой,
Заветной, – ты каждый читай ее день,
И лист, но не боле, для каждого дня!
Не более, помни!..» С сим словом почил,
Как тихий младенец, столетний мудрец.
И было преданье, что ангел пустынь
Восхитил земные остатки его!
Вот ночь протекает, как вечность!.. С зарей
К заветной подходит пылающий чтец
И к розовой ленте душою летит.

Читает, и сердце весельем зажглось:
Все розовым светом сияет в очах;
Все жилы, как струны, дрожат –
и ключом
Кипит молодая, румяная кровь.
Улыбка играет на свежем лице;
Он, кажется, слышит надежды привет
И голос знакомых мечтаний: он весь
Восторг и желанье... Уж лист пробежал
И дале, все дале, как вспыхнувший огнь
При веяньи ветра на поле сухом;
И вот в упоеньи всю первую часть
Прочел, поглотил он – и розовый свет
Угас, и поблекла улыбка... Он стих;
Но слышит он новый заманчивый глас:
«Все далее, дале!» Эфир голубой
Сияет, как небо, в заветных листах.
И все постоянней и все там верней,
И счастья обеты слышнее – и цель
Вдали, за туманом, яснее горит...
Спокойнее взоры чтеца, – но уныл
И пасмурен стал он, когда перешел
За черную ленту... Там вялая жизнь
Как сонные воды в пустынных брегах...
Прочел – и со вздохом воспомнил завет
И тихо побрел он к родной стороне.
Но там ненадолго он гость у друзей!
Он сохнет, он вянет отцветшей душой;
Линяет румянец на впалых щеках,
И жизнь догорает во взорах – и вот,
Унылый, он рано в могилу сошел.

Постигнули тайну кончины его...
И братья и други по летам забав,
Вздыхая, жалели о пылком чтеце,
Что книгу он жизни так рано прочел!

XXXII
Невидимо-видимая

«На земле и в небе есть многое,
о чем никогда и не мечтала ваша философия».
Шакспир[6]

Вчера я, провожая солнце
На пламенный его закат,
Тоскою в думу побуженный,
Глубокой грустъю был объят:
Моя последняя надежда
Угасла, как его лучи!
И грусть, как сумрак хладной ночи,
Легла в тоскующую грудь...
Раскрылась бездна предо мною! –
И я – о, страх! я стал терять
Святую в Провиденье веру
И ропот в сердце восставал!
Но только солнце закатилось,
Она опять ко мне вошла,
Вошла – не отворяя двери
И не касаясь до земли!

[6] Так у Глинки. – *Ю. О.*

Любви привет сиял небесный
В ее лазоревых очах;
И мне знакомая улыбка
Цвела, как утро, на устах
Румяных, как заря, и сладких,
Как чистый ароматный сот,
Как первый поцелуй невесты!
И вся она, моя краса,
Дышала свежестию неба,
Как ясный день младой весны.
Я все еще как будто вижу
Ее приход, ее черты:
Спокойна, как душа младенца;
Как совесть чистая – мила;
Неизъяснимая – как тайна;
Она вошла, как *тишина*:
Так входит милая *надежда*,
С своей отрадой неземной,
Или предчувствие блаженства
В давно тоскующую грудь...
Она вошла, и к гостье милой
Моя душа... И грудь была
Полна таинственною негой...
Она вошла, – и тихо мне:
«Восстань, – с приветом прошептала, –
Смотри!» И с словом указала,
Чрез растворенное окно,
На свод, усеянный звездами
С его серебряной луной.
«Читай!» – и вот она коснулась
Моих очей – и я прозрел.
И, чудо! – я взмахнул крылами

И с нею об руку лечу;
И, в наслажденьи непонятном,
Моя душа ясна, как день!
Ей прелесть голубого свода
Мила, как узнику свобода;
И веянье святых небес,
Как весть из родины далекой,
Как голос милой старины...
Мы обтекли предел луны:
Над ней тогда шумели бури
И ярких молний блеск горел!
Но далеко от бурь мятежных,
И, полные высоких дум,
Мы в океане неба плыли....
И вот, близ звезд, спустился к нам
Навстречу *кто-то*, житель неба,
Незримый для земных очей,
Но слышный сердцу и понятный
Уму, как *истина*, как мысль:
И мил он, как привет надежды;
И чист, как первая любовь!
Он проводил нас за собою
В свою отчизну... Где слова,
Чтоб описать страну святую,
Где все блаженство – все покой?
Там – в голубых полях эфира –
Сияет вечная заря;
Там вечно утро молодое
С своею свежестью цветет;
Там все *гармония*, все стройность,
Там перелетны ветерки,
Как звуки арф, ласкают душу;

Там пылкий, светлый *Серафим*,
Плывя в небесной, чистой неге,
И очи устремив горе,
В святыне тайной видит Бога
И звонкой гимн ему поет:
И тишина святого свода,
И вся надзвездная природа
Внимают вечной песни сей!..
Так, в мире сем святом и дивном,
Нет ничего для наших чувств:
Но все понятно, все знакомо
Душе, как прежний край родной:
Оттоль *прекрасное, святое*
И все *высокое* оттоль,
Лучи кипящей, свежей жизни,
Три вечных таинства небес,
Нисходят в дольние пределы,
В сей бренный видимостей мир
И стонут в узах жесткой персти...
Холодный мрамор под резцом,
Неясной жизнью зажигаясь,
И дышащий под кистью холст,
Для наших грубых чувств являют
Их пребывание *в земном.*
Но вам, небесные, милее
Душой высоких песней быть;
Являться в светлых переливах
На мелодических струнах,
И строить золотую лиру
Поэта чистого душой...
Так, я блаженство *неземное*
Вкушал далеко от земли,

И упоенный наслажденьем,
В восторге пылком я забыл
Врагов и счастия обиды,
И мутной жизни тяжкий плен,
И жил я жизнию иною.
Но дверь скрипит – ко мне толпою
Заботы с прежней суетой!
И я, о горе! чуждый неба,
С моей подругой молодой,
Я увлечен опять в отчизну
Порока, смерти и судьбы;
И связанный опять пространством,
Я времени и тленья раб!
И все кругом переменилось!
Исчез он, мой минутный рай:
И все мое, как сон, пропало,
И мне еще грустнее стало...
Опять существенность лежит,
Как гробовой на сердце камень;
А тихой гостьи больше нет!
Она ушла, как призрак милый,
Как звук гармонии унылой.

XXXIII
Темное воспоминание

Я помню так, как давний сон,
Мое златое время детства,
Когда еще мне чужд был стон,
Когда не знал я слова: бедства.

В тех незапамятных годах
Терялся часто я в мечтах,
Глядя на голубые своды
Как будто ведомых небес,
На виды сельские природы
И на спокойный темный лес
Под золотою полосою,
Когда день летний догорал
И свежей вечера росою
Благоуханный луг сиял...
Я помню, с каждою весною,
Откудова, не знаю сам,
Являлась дева песней к нам,
И часто занималась мною
Она, прекрасная как день;
Я помню стан, под флером, гибкой
И алые уста с улыбкой.
Как пролетающая тень,
Она без шуму приходила,
С любовью в голубых очах,
И на серебряных струнах
Златые песни выводила.
Я помню, часто я любил
Сидеть у ног певицы сладкой,
И, дух переводя украдкой,
Я жадно песнь ее ловил
И целовал у девы руки...
И были, в детской простоте,
Мне непонятны песни те;
Но – усладительные звуки,
Как дар высокий и святой,
Берег в душе дитя счастливый, –

Так дождь пшеницы золотой
Ложится в лоно мягкой нивы.
И я с тех пор в душе носил
Залог священного посева...
От нас сокрылась скоро *дева.*
Уж я нигде не находил
Моей пленительной подруги!
Промчались детские досуги.
Я рано с грустью стал знаком:
Сказав в слезах «прости» отчизне,
Я рано брошен в бурю жизни,
И стал мне чужд отцовский дом.
Но что-то в памяти сверкало,
Мечтой неясною маня,
И мнилось, в сердце у меня
Как будто что-то созревало.
Я рос на поле боевом,
Труды и дальние походы
Снедали дни мои и годы:
Кругом грозы военной гром,
И со врагом дневные драки,
И, ночью, светлые биваки,
И грады пышные в огне –
Вот все, что было близко мне!
Но браней смолкнула тревога,
Отпразднован победы пир;
И мне тиха была дорога:
Я шел украдкой в новый мир
Искать душе усталой мира...
Мне невзначай попалась лира!
Я в первых песнях пел любовь
И прелесть пышную природы,

И, чудеса сердечных снов,
Мечты блаженства и свободы
Ласкали юного певца...
И позже – в горестные лета,
Узнав вблизи коварство света,
Людей холодные сердца,
Лишенный счастья и покою,
Высокой вдохновен тоскою,
Я пылкой жаждою горел
Взноситься мыслью окрыленной
В пределы тайные вселенной;
И с гладом сердца я летел
К нему – строителю природы;
И, выше созданных миров,
Где нет телесности оков,
Я в беспредельности свободы
Мой дух усталый освежал,
И горним солнцем позлащал
За мной влачащиеся узы.
Но никогда от ранних лет
Ко мне не приходили *музы*,
И мне неведом их привет;
Безвестны тайны песнопенья,
Пою по сердцу, без уменья...
Но что ж полна душа моя
О ком-то памяти священной!
Что б ни запел, то слышу я
Все песни *девы* незабвенной.

Примечание

В некоторых современных изданиях, в отзывах на счет предлагаемых здесь Аллегорий, дано чувствовать Автору, что не излишним было бы помещать где-нибудь в приличном месте отгадку, или *слово*, объясняющее содержание иносказания. Следуя сему и желая облегчить чтение предложенных иносказаний, я нашел приличным присовокупить к книге особое оглавление противу заглавия пиес, с поставлением противу каждой слова, означающего содержание оной.

Заглавия	*Аллегорическое значение пиес*
Знакомая незнакомка	Истина
Незнакомый знакомец	Порок
Неузнанная	Явление совести
Загадка	Душа
Страшная гостья	Смерть
Поли-метр	Дух и тело

Непонятный союз	Соединение души и тела
Златоперая птичка	Воображение
Прохожий	Здесь изображено возмездие в будущей жизни за добродетель и терпение в здешней
Неведомая	Меланхолия, или олицетворение того чувства духовной тоскливости, которое возводит до высших истин Веры и нравственности
Вожатый	Воображение
Заветное зеркало	Здесь изображено состояние души, утратившей на время ясность внутреннего чувства
Два путника	Душа и тело
Прекрасное соседство	Совесть
Райский цветок	Сострадание к ближнему
Сатир и Весталки	Порок и чистота
Неосязаемая утешительница	Надежда
Три эпохи	Три нравственных периода души
Неразлучные	Нищета и жалость

Приложение 1

Произведения, которые Ф. Глинка предполагал включить в новое издание «Аллегорий»

Парящая

Кто эта смиренная, кроткая, склоняя голову с миловидным, детским лицом и оперщая лилейное чело на руки, благоговейно у груди соединенные, летит сквозь тишину благоговейной ночи? Ее одежда клубится за нею, как перламутровое облако, как кристальная волна, в которую луна схоронила свой серебряный образ. Почто Два Ангела летят наряду с нею? Они собирают, в свои златые сосуды, катящиеся по временам, из очей ее перлы. Откуда же вылетела сама себя окрыляющая? Из какой вселенной, из какого мира?.. Ее видели вылетающею из хижины бедного человека. Куда же летит она? – В небо! – Вы требуете, чтоб я назвал это кроткое, миловидное существо? – это Молитва!

Ед. хр. 993. Л. 63

Очищенное злато
(восточный аполог)

Однажды, когда еще вещи и люди умели между собой разговаривать, небольшой кусочек золота, тщательно очищенного и сплавленного в обручальное кольцо, спросил у своего хозяина: «Откуда я? – Верно ты взял меня в стране чистоты, где все живет и сияет лучшею, возвышеннейшею жизнию?» – «Посмотри, – сказал хозяин, – на место своего рождения»; и отнес кольцо к золотой шахте. – Там, близ глухого и темного подземелья, увидело оно груду самой нечистой грязи. «Вот, где ты зародилось! Вот сколько надобно было отделить нечистоты. Из ста пудов нечистой руды вымывают иногда один только золотник золота, чтоб возродить тебя на свете!» – Потом показал ему и горнило очищения, чрез которое провел мастер золото, уже отделенное от природной грязи.

Кто почувствует себя очищенным, тот стань на место золота и вообрази, сколько нужно было омовений и труда, чтоб извлечь его из природной грязи, и как необходимо горнило, чтоб довести, уже возрожденного, до конечного очищения!

Не разумеющий – пойми!..

Уразумевший – не ропщи!..

Ед. хр. 993. Л. 70

Северная летняя ночь
(картина с натуры)

Обширное озеро, – пресное море, – приняв от облаков молочный цвет, дремлет как будто оцепенелое. Кольцо прибрежных лесов – синеет. На красных чертах облаков видны остатки розовых оттенков зари. С другой стороны мелькают, двумя небольшими полосами, два лесистых острова. Пополам рассеченный, ущербный месяц, одинок стоит неподвижен. Не видно ни одной звезды. Солнце, едва закатившись, готово опять вспыхнуть, еще не потух Запад, уже румянится Восток. – Между тем всеобщая жизнь, долго стесненная холодом, проснулась хотя поздно, но в силах исполинских! Еще не рассеялся густой аромат черемухи, сменивший смолистый запах молодого листа березы, как рассеялся уже острый аромат цветущей рябины, готовый смешаться с тонким, едва ощутительным запахом полевых роз. Все зацвело и опало. Тучи комаров пронзают воздух жужжанием. Деятельные пауки проворно снуют нити свои по вершинам елей. Множество насекомых ползают, шныряют, копошатся. Здесь нет ни пчел, ни соловьев, ни перепелок; но шмели жужжат над акациями и малиновки распевают пленительно. Кажется, все торопится, хочет пожить, пока дохнет северный ветер с соседних берегов. Только море и все, как будто по мановению чародея, уснет и онемеет! –

1830 (В Петрозаводске)

Ед. хр. 993. Л. 69об. – 70

Явление незабвенной[7]

Большое войско расположилось близ старинного замка. Это было в пределах империи, в стране недавно завоеванной. Войны еще не было, но труба военная призывала уже к дальнему походу. Был вечер тихий, июльский. Все высказывало полуденность края. Небо высокое, чистое, голубое, как эмаль на одном из европейских орденов, награждающих достоинство, было, как он, прелестно озлащено, по краям, угасавшим солнцем, которое великолепно светило в течение долгого дня. Скоро явление переменилось. Полнеба уступлено владению зари. Алая, как рубин в венце державного владыки, она, до появленья звезд и луны, оставалась несколько времени – одна и досужно любовалась собой в гладком ясном зеркале полуовального, серебряного озера, которое, как будто разумея и чувствуя, казалось, не смело дышать, чтоб не утратить ни одной черты прекрасного.

Загремели барабаны, распахнулись белые шатры, зарумяненные легким отливом вечернего неба. Войско в строю, над острием каждого штыка сияет отблеск вечера, как кисть светозарная. Наконец, все острия преклонены,

---

[7] Напечатано у Раича в «Галатее». Примечание Глинки. К сожалению, нам пока не удалось разыскать эту публикацию. – *Ю. О.*

главы обнажаются... Торжественное молчание!.. Музыка играет сладко, сладко, умилительно... Так встречали зарю. – Между тем южный ветер сошел. Сумерки сделались решительнее. Звезды (прекрасные золотые звезды) виднее. Я вошел в замок. Из огромной залы, увешанной портретами и оружием древних рыцарских родоначалий, чрез большое окно, в котором прозрачные, как свет дневный, стекла убраны раззолоченною бронзою, открывались, с высоты, обширные поляны, притоптанные некогда народами Татара, унизанные живописными садами, рощицами. Я стоял у этого окна один – тогда еще в самой ранней молодости. Передо мною, казалось, лежала книга жизни, еще неразогнутая, под печатью судьбы. Мое будущее было для меня тайною. Вдруг явилась она... Мгновенно предстало, но медленно развилось это чудесное явление. Сперва нарисовалось в воздухе лицо, украшенное всеми прелестями юности, красоты и приятностей (позднее я видел только раз подобное лицо в одной из картин бессмертного Рафаэля). Потом взор скользнул по прелестной шее и груди, которые скромно и густо были закутаны живописновьющими покровами, тонкими и волнистыми, как мысли поэта. Ее одежда, столько же тонкая, как и покровы, – и, без примеси, белая, как первый девственный снег, усеяна была яркими блестками... Как будто кто-нибудь изломал луч солнца и рассыпал его мелкими искрами по этой одежде. Видали ль вы на самом чистом ут-

реннем небе одно розовое облачко, из которого, кажется, выглядывает златокрылый Божий Ангел? – Такой был взгляд явившейся! – Слыхали ль вы, каким голосом произносит в самый первый раз, с дозволения матери, свое первое *люблю* счастливая, влюбленная невеста восхищенному ею жениху? – Таков был голос ее. В простой уборке волос, над лилейным челом, скромно благоухала одна фиалка, в руке, на ветви стройной, как и стан ее, колебалась белая лилея.

Она приближалась – и я оцепенел! Не страх, нет! – но чувство, открывающееся при приближении к нам чего-нибудь великолепного, священного, оковало все существо мое. Я смотрел на нее – и блаженствовал. Кажется, счастье миллионов людей сделалось моим уделом, каждая нерва как будто стала особою душою и чувствовала столько восторга и благополучия, сколько может вместить самая пылкая душа поэта и влюбленного. – «Будешь ли мне верен?» – сказала она. Прежде чем ум успел обдумать ответ, душа произнесла уже, из уст моих: буду, буду! – «Напитайся же теперь мною, как жаждущая земля весенним дождем, прими в праздную твою душу мой образ, как тихий прозрачный поток принимает в себя небо! Ты будешь странствовать по темным и холодным местам! – Одни молнии, из грозных туч станут освещать путь и дороги твои! Ты остынешь и стоскуешься... Будешь ли ты и тогда мне верен?» – «Буду, буду...» – «Много пострадаешь ты, бедный, за верность ко мне! лукавая насмешка

истощит все свои стрелы, надменная гордость станет смотреть на тебя с презрительною улыбкою, ум поименует безумным, свет прозовет тебя мечтателем и самые добрые люди скажут с сожалением: он силится достигнуть недостижимого! Будешь ли мне верен?» – «Буду, буду!» – «Не надеешься ли, легкомысленный юноша, получить богатство и почести за верность ко мне? Я не хочу обманывать: раскаленным углием и тернием усыплют пути твои, когда увидят, что ты идешь ко мне открыто. Зависть выпустит змей своих, клевета двинет легионы поклонников и заступит все теснины на пути твоем. У тебя отнимут все, что радует, что веселит человека и... еще ли ты будешь мне верен?» Ум взволновался, какой-то страх повеял на меня холодом, как из могилы... Уста дрожали, еще минута размышления и... но душа успела вымолвить замирающим голосом: «Да! Ты так прекрасна!»

Ночь исчезла. Как великолепная театральная завеса, свивались к верху белые туманы. Войско проснулось. Всадники, блестя металлическими нагрудниками и светлым убором коней, мчались с места ночлега к дороге, которая золотистою полосою перегибалась по зеленеющим холмам. Дружный строй пеших, – будто река, – сливался с высоты на долины, лучи играли на гранях потоков. Что будет со мною? – думал я, следуя за другими, и рассказал мой полусон одному воину, поседелому на тяжких битвах с жизнию и врагами. – Он улыб-

нулся и сказал: «Так, говорят, является добродетель», – и погрузился в глубокую задумчивость... Тогда я не мог еще угадать: почему он предался такой глубокой думе при имени, столько любезном человечеству.

Ед. хр. 993. Л. 28 об. – 33 об.

Весна (аллегорическая)

Она идет, она спешит, она летит. Я вижу ее легкий, легкий дымчатый, как будто из туманов выкроенный, из ароматов истканный, – хитон белый, млечно-видный, усеянный желтыми, златыми искрами. Она идет... и душа воскресает ей навстречу. От нее слышно, как от приближения милого, какое-то невещественное прикосновение, трогающее нервы, веселящее все существо человека, всю природу. Природа пробуждается как дитя от дыхания матери, склоненной на его колыбель. Алмазы льдов тают, и жемчуг, шумными буграми, клубится от утесов. – Буквы, притеките ко мне на помощь! Слова! – устроясь в звучные выражения, – помогите мне уловить весь блеск, все звуки, все голоса, все очарование, все неосязаемо-ощутительное, приносимое Весною! Но вы только мертвецы! Вы немые, хладные, тусклые представители живого, жаркого, ясного чувства, чудной сияющей мысли!.. Идет, идет

посланница жизни! Она идет из мира, где неисчерпаемость бытия не знает ни ущерба, ни ощущения!

Ед. хр. 993. Л. 63 об. – 64

Суд и милость[8]

В священном безмолвии пустынь Вифсаниды среди великого отречения от мира, в постнических трудах и подвигах смирения созревали в духовный возраст великие мужи, проименованные столпами церкви, светилами мира христианского. Там некогда безмолвствовал некогда уединенный Павел в продолжение сорока лет. Но сорок лет пустыннической жизни не охладили в нем любви к человечеству. Она проснулась в душе уединенного при виде юнца звероловца, заблудившегося в пустыне. Земля обитаема ли еще существами разумны-

---

[8] Мне досталась однажды на время небольшая (в маленькую осьмушку) рукопись (старым полууставным письмом), книжечка. Содержание ее разнообразно, заглавия не было. Она могла принадлежать к тем старинным рукописям, которым дают название сборников. В свое время они – эти сборники – были, может быть, то же, что нынешние альбомы. Я нашел в этой книжечке предания, которые, исправя только в слоге, передаю читателю. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

ми? Прекратились ли свары? Проливается ли кровь на землю? Есть ли еще у братий-человеков слезы дружбы? Святая вера имеет ли свои храмы и добродетель своих почитателей? – Так говорил просветленный, а между тем тигры, смиряясь до кротости агнцев, лобызали стопы незлобивого и горы готовы были сдвигнуться с места по гласу верующего. Спустя долго после этого, когда суетливые грады ближе подступили к пустыне и буря житейского и шум человеческой деятельности соседственные стали с священными пределами уединенья, в тех же самых пустынях обитал отшельник.

Слава о чудесах и жизни затворника далеко очертила светлый круг, которого средоточием была темная пещера в скале пустынной. Два путника шли из ближайшего града. Их утомили и ласки, и обманы суетности. Они расслабили в изобилии. Их души пылали жаждою иного, и луч горней истины указал им на светильника пустыни: там уповали они утолить жажду замирающего духа живою водою слова.

День вечерел. Уже схимны выходили из дебрей просить пищи у Бога. Все темнело в пустыне, только над ближним холмом рисовалось в воздухе светлое видение. То был муж сановитый в одеянии яркой белизны, воскрайя риз искрились желтым златом и над главою сияло окружение, как будто один из солнечных лучей согбенный дугообразно. Но лицо его, просветленное, прекрасное, осенено было унынием невыразимым, и круглые слезы, чистей-

шие восточных перл, катились из задумчивых голубых очей. Путники ускорили шаг, но сила незримая, как волна противу текущая, остановила их и глас тишайший, неслышный уху телесному, но громкий для уха душевного, произнес к ним слова сии: «Не приближайтесь, люди, я не земной!» И, осеняя их, оробелых, благовонным дуновением своих уст, он продолжал: «Выслушайте меня прилежно и узнайте, кто есть глаголящий вас: "Я Божий".

За многие веки на этом месте красовался великий город. Грехи его восхитили, как раны морового поветрия, как проказа пред новомесячием, и гласы обидами обиженных достали до слуха Судьи Судящего. Я был един от Ангелов правды: "Иди! – сказал Господь. И воздай людям силы!" – Это слово облекло меня силою необычайною, и криле широкие, как символ послания, утвердились в междурании моем. В десную дан мне меч, в шую – весы. Препоясанный крепостию, я полетел по полям неизмеримости. Сила моя стала необъятна! Миры готовы были растаять от лучей славы моей: таков посланник Бога! – Воздух, сжатый моим начетом, сгустился над сими пустынями в черную тучу. Я остановился – и молнии закипели. Грехи были очевидны: я взвесил и махнул мечом, произнося великое, заветное слово власти. Все четыре стихии отозвались: "Мы готовы!" Глад и война засвидетельствовали покорность свою и множество недугов мне поклонилось. Но я недовольно терпеливый, я избрал средства кратчай-

шие. Я позвал – и свирепый Самун[9], и знойный и мощный, прибежал из пустыни, я повелел – и огонь захлопотал под землею.

Земля разверзлась, град исчез, и песок, красным волнистым морем, надвинулся на место бытия человеков. Страшен и могущ возвращался я восвояси небесные. Ангелы правды встретили меня с плясками и пением, но между ними не было Господа, и жажда лицезрения охватила меня. Я пылал не сгорая и мчался в пределы Суда. Но сила отпорная остановила меня. "Ты нечист пред Господом! – прогремел глас из Святая Святых. – Ты забыл милость при воздаянии: ты нечист перед Господом!.." – И все умолкло. Страшное молчание!.. Мне показалось, что жизнь вселенной замерла в это мгновение, но жажда лицезрения кипела сильней и сильней. Я продирался сквозь силу отпорную до лица Господнего. Вдруг выступили личины Ангелов милосердия. И, как луна предрассветная бледнея исчезает пред сиянием восходящего солнца, так исчезла вся слава дружин правосудия пред непостижимою красотою Ангелов милосердия. О горе! Предо мною развернулась хартия судеб. Я прочел слова: "Бог действует в суде, но пребывает в милосердии!.." Тут оставила меня последняя сила, я начал ронять кры-

---

[9] Самун, или Самюаль, – всесокрушающий пламенный вихорь в пустынях Сирии. В псалме 90 он назван бесом полуденным. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

ла, отяжелел и стремительно низвергся до места, где стою ныне. Смертные! Человеки! Как описать вам тоску бессмертную, как высказать ощущение беспредельного глада и жажды лицезрения Божия? – Я стану говорить вашим языком: вообразите пылкого страстного жениха-юношу, много лет искавшего руки своей возлюбленной, много претерпевшего, много пространствовавшего, представьте, что он преплыл море, сражаясь в битвах, томился... и наконец достиг своих исканий, стал пред алтарем веры и назвал супругою Деву-возлюбленную. Но еще не постигнув всей сладости брачного лобзания, вдруг сорван с ложа новобрачного, заклепан в гроб и засыпан землею. Вообразите, что он ожил, ощутил в себе силу, жизнь, слышит голос матери, голос невесты-супруги, рыдающей над своим женихом, – бьется, терзается, и все понапрасну!!! Какова должна быть тоска это?!! Но несравненно этой все более и более возрастала тоска небожителей, лишенных лицезрения Господа! – Двадцать поколений родилось, отжило и погребено с тех пор, как я тоскую о небесном, не касаясь земного. – Путники! Идите к Старцу Святому! Передайте рассказ мой и просите мужа кроткого, да помолится обо мне Господу!.. Я чувствую, его мирительная молитва взойдет до высоты, доступной смиренному беззлобию, – и я буду помилован!..» Умиленные пришли к святому, рассказали слышанное, и старец начал моление. «Три дня и три ночи буду я молиться без

сна, пития и пищи, и вы, други! Перед каждой утреннею зарей выходите в пустыню и соглядайте мужа белоризного[10]!»

Прошел первый день, протекла первая ночь и пришельцы увидели печального небожителя, уже не на прежнем месте! Он возвысился настолько от горьких туманов земли, насколько самый смелый орел может вознестись в поднебесную. На другую ночь муж белоризный светлел уже на той высоте, где очам нашим представляется семицветный пояс радуги по тихом летнем дожде. И на третью ночь, близ часа полуночного, они увидели небесного уже там, где человек привык видеть великие созвездия неба. Но пред зарею утреннею свершилось новое чудо! Небо, как казалось, растворилось, и целое море живого, палевого Света хлынуло на пустыню.

Земля издала аромат розы, и воздух превратился в звуки пленительные! Теплый дух жизни проник в сокровеннейшие пути природы: жилы камней забились, древа зачувствовали, каждый лист стал устами хвалящими... И все это соединение света, ароматов, хвалы и гармонии слилось в один общий глагол поднебесный, долго вторенный эхом земным: «Бог действует в суде, но пребывает в милосердии!..»

Ед. хр. 1002. Ч. 1. Л. 101–105

---

[10] Так назван он в подлиннике. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

Не наша сторона!

Какая мне явилась сторона!
И в ней торжественная света тишина,
Как в тайне царского чертога...
Меж скатных гор постлалася дорога,
И зелень яркая густа на тех горах,
И свежесть чудная от зелени той веет:
Но что, в тиши, по скатам гор белеет?
То ангелы! Они живут в своих садах,
А человек идет сироткой по дороге.
Святые! Бросьте мне цветы
Или заветную примету,
Чтоб я, без вождя, одинок,
Не потерял пути к возвышенному свету!..
Но вот гармония незримая слышна:
Земной зовется небесами.
Какими дивными, святыми голосами
Наполнилась сия святая сторона.
Они, как шелковые мрежи,
Все чувства ловят в сладкий плен...
О, лейся, лейся в душу, свежесть
От сих живых, зеленых стен!
Среди сгущенного, питательного света,
Средь дивной зелени и чудной белизны,
Умом, душой я пью блаженство сей страны,
Как сладкие стихи высокого поэта.
Но где ж она, сия страна?
Напрасно простираю руки:
Неуловимая, как сон, как звуки,
Как сны, как сладость струн, существенна она.

Разрозненная семья
(аллегория)

Три слова: Ты, и Он, и Я,
Между собой когда-то дружно жили,
У них была одна семья!
Но первый отшатнулся – Я,
Другие тож недолго подружили.
Когда ж раздвинулись и Ты, и Он,
Явились на земле война, грабеж и стон,
И стало видимо трех братьев разлученье.
Трудились долго все умы
И наконец свели всех трех в названье «Мы».
Конечно, есть соединенье,
Но счастья нет того, как Ты, и Он, и Я
Живали как одна семья!
Теперь, куда ни взглянь, все так согласно, сладко,
Но пристально всмотрись – увидишь,
что украдкой
Везде проказит змейка Я!!.

Ед. хр. 994. Л. 67

Они же
(к аллегориям)

Опять они! Все те же звуки!
Там, где-то там, в туманной мгле,
Белее снега, чьи-то руки
На звонком движутся стекле.
И жизнь и песни под перстами.

Вот там, незримыми устами,
О чем-то чудном говорит!
Сдается мне, поют про тайны
Плывущих в синеве миров,
О мятежах земли случайных,
О дивном жребии веков:
Возвышен голос сей и важен –
Как в ясном хрустале вода
Он чист, – и сладостно протяжен,
Как чувство радости, когда
Мы, после долгия разлуки,
Пред девой милою стоим...
И, молча, в очи ей глядим...
Опять они!.. Все те же звуки!..

Ед. хр. 1002. Ч. 1. Л. 4

Весна

1

В полях тепло, и жавронок трепещет
Над гнездами малюточек-птенцов,
Цветок живет и чувством жизни блещет;
У девы мысль мелькнула про любовь.

2

Весна! Весна!.. Земля полна обновы,
Немое все заговорило вслух,
И, мертвые сорвав с вещей покровы,
Все жизнедарный оживляет Дух...

3

Так Вера к нам, – весна души, слетает!
С ней человек, хоть и во льду земном, –
Когда под зноем Духа сердце тает, –
Не узнает себя в себе самом!..

4

Так времена и целые народы
Изменятся с весною мировой
И, оком духа, с светлой головой,
Прочтя, поймут все таинства природы
И перестроят ветхой жизни строй.

5

Тогда – теперь неласковые – руки
Протянутся для братства и родства,
Все позабудут и значенье муки,
И будет все – семья без сиротства!!!

6

Тогда семья счастливых населенцев,
Под солнцем Духа обновится быт.
И, как Христос благословлял младенцев, –
Друг друга всяк тогда благословит.

Ед. хр. 994. Л. 73 об.

Дева и видение

Он ко мне приходил по ночам,
Он моим представлялся очам;
Он со мной говорил... говорил...
Он не отрок, не юноша был,

Не сиял он красою младой,
Он был старцем с седою брадой.
Он ко мне на возглавье склонялся,
И меня он, как дочь, целовал
И устами к устам прикасался.
И, светлея, душа на уста,
К поцелуям навстречу летела;
И явленье его не мечта:
От явленья его я умнела!..
Угадайте ж, кто он, посетитель ночной?
Я в душе его образ лелею,
Он так кроток и мудр, и со мной как
родной,
Он... назвать вам его не умею!
Чудесный миг, чудесный час!
«Я был не на земле, а где-то:
И сердце было так нагрето,
И слезы капали из глаз...
С тех пор я в бурях все ношуся,
И свет души моей погас,
А все вас жду и не дождуся,
Чудесный миг, чудесный час!»

Ед. хр. 994. Л. 26 об.

Засуха

Не освеженная росою
Земля засохла, все в огне,
И запад красной полосою,
Как уголь, тлеет в тишине.

Везде болезнь и вид боязни,
Пылят пути, желта трава;
Как накануне верной казни
Больная узника глава
На перси небрежно скатилась,
Так опустилися цветки!
Уж меж душистыми шелками
Не сеют жемчуг ручейки,
И под сожженными брегами
Упало зеркало реки!
Как сладко тут о днях ненастья
И о дождях воспоминать!..
Так в засухе мирского счастья:
Душа томна, душа болит,
Завяла грудь, и ум бескрылый
От ярких мыслей не кипит;
И часто, как печать, клеймит
Чело счастливца вид унылый,
И сквозь пустынные глаза,
Без дум, проглядывает скука...
Но загреми над ним гроза,
Проснись в душе уснувшей мука –
Вдруг чувства молния блеснет,
Из-под ресницы, в пылких взорах,
И, растопившись, потечет
Душа в высоких разговорах;

Так в засухе мирского счастья:
Душа томна, душа болит,
Завяла грудь, и ум бескрылый
От ярких мыслей не кипит;

И часто, как печать, клеймит
Чело счастливца вид унылый,
И сквозь пустынные глаза,
Без дум, проглядывает скука...
Но загреми над ним гроза,
Проснись в душе уснувшей мука –
Вдруг чувства молния блеснет
И бодро воспрянет узник-дух,
Покоя цепью отягченный,
И заблестит чело, как луг,
Дождливой ночью освеженный!

Ед. хр. 1002. Л. 4 об. – 5

К лугу

Зеленый луг! Зеленый луг!
Как расстилаешься ты гладко,
Как отдыхает тут мой дух,
Как тут задумываться сладко!

Ах, если б так, ах, если б так
Постлался путь наземной жизни!
Смелей бы я сквозь вихрь и мрак
Спешил к сияющей отчизне.

Но тут скалы – и все скалы,
Стоят, как призраки, от века,
И с них летят, кипят валы:
Трудна дорога человека!..

Зеленый луг! Зеленый луг!
Пока цветешь, стелися гладко!
И успокой мой томный дух
И дай задуматься мне сладко!

Ед. хр. 993. Л. 45–45 об.; опубл.: «Невский альманах на 1830 г.». С. 265[11].

Кто он?

Дугой нахмуренная бровь;
Как смоль вихристый, крупный волос;
Понурый взгляд, неясный голос...
Он не шутлив, и не суров,
И не задумчив; но игривость
Ему совсем незнакома;
В душе он носит горделивость,
И на челе печать ума...
И в мире он дикарь пустыни,
Не любит наших мелких нужд,
Всего утешного он чужд;
Дрожит при имени святыни;
Он в обществах учтивый гость,
Но тверд и холоден как камень;
Под языком таится злость;
В очах порою вспыхнет пламень;
Но этот пламень – не любовь!

---

[11] Данные Л. Ерохиной.

Он холодно глядит на кровь,
И на кладбище, и на трупы...
Перед его умом все глупы...
Вошел, взглянул – и все насквозь,
Глядит – глаза, порою, врознь...
Глядит – и видит все изгибы
Души, и мыслей, и сердец!
Рыбак не сторожит так рыбы,
Как он, недремлющий ловец,
Подстерегает взгляд и слово...
Он души смертных прочитал,
Постиг земные заблужденья,
И, чуждый к слабым сожаленья,
Он, гордый, сам себе сказал:
«Они мои!.. Слепые дети!
Я ваши жребии держу:
Нужна ли хитрость? – кину сети;
Потребна сила? – я свяжу...
Я все, обдумав, начинаю,
И терпеливо я люблю;
Кто б ни был он – остановлю
Единым словом: *я все знаю*».
И знают, мнится, все его,
И нехотя при нем таятся,
И гостя скромного боятся,
Не зная сами отчего...
Он тих и никого не тронет,
Он словом не обидит вас,
Но мать дитя свое хоронит
От зорких нечестивца глаз...

Ед. хр. 1002. Л. 16 об. – 17 об.

Вера

Когда кипят морей раскаты,
И под грозой сгорают небеса,
И вихри с кораблей сдирают паруса,
И треснули могучие канаты,
Ты в челноке будь *Верой* тверд!
И Бог, увидя без сомненья,
Тебя чрез грозное волненье
На тонкой нитке проведет...

Ед. хр. 994. Л. 63 об. – 54

Надежда

Под черною ночью, на белом коне,
Скакал паладин по буграм, чрез овраги;
И нет уж в нем силы, и нет уж отваги;
Но вдруг заяснел огонек в стороне:
И радостно поднял усталые вежды,
И скачет бодрей крестоносец-ездок:
Ах, как не узнать?.. то Надежды,
Надежды златой огонек...

Ед. хр. 994. Л. 53 – 54 об.

183

Любовь

На степи раскаленной, широкой,
Где не слышно, не видно отрадных ручьев,
Исчезал, без воды, человек одинокой;
Вдруг послышал он тихий и ласковый зов:
«Оглянись, человек, и напейся,
И напейся студеной воды!
Уповай и люби и надейся –
И, как жажда, исчезнут беды!»
Он взглянул – и прекрасная, с чашей,
Перед ним, как видение снов:
Ничего он не видывал краше,
И душа в ней узнала – *Любовь*.

Ед. хр. 994. Л. 54 – 54 об.

Приложение 2
Прозаические миниатюры Ф. Глинки, не предназначавшиеся автором для публикаций в составе «Опытов»

Восхождение солнца в бурное осеннее утро (картина с натуры)

Был 9-й час утра. – Синие облака густо висели над продолговатою горою, которая рисовалась в воздухе, как огромная крепость; ряды елей торчали, как зубцы башен. – Вдруг появились золотые змеи и улеглись по краям облаков, которых синева сделалась еще синее. – Но вот, все более и более, алеют золотые змеистые изгибы. Вдруг – искра... Вдруг пожар... Восток засветлел...

Разлив золотого пылания образовался в круг, круг превращается в шар, растет, растет... Какой огромный шар: это солнце! – Буря веет, в воздухе пробегает резкий свист; озера кипят; флаги на мачтах хлобыщатся; флюгера быстро вертятся, дерева машут своими вершинами, облака набегают на солнце, но им не закрыть уже

возникшего светила. – Так возникает просвещение во время невежества и порядок среди мятущейся гражданственности.

Минута пред восхождением солнца имеет нечто торжественное, нечто чудесно-успокоительное. – Кажется, вместе с мраком ночи, проходит все мрачное. – Не знаю, внимание ли к восходящему светилу или что другое причиною тому, что душа вся направляется к черте востока и, как будто невеста, пристально взирающая на дверь, из которой должен появиться жених ее, радостно утопает в ощущениях безымянных, в наслаждении, которого нельзя ни осязать, ни купить за все злато перуанских рудников, за все алмазы Индии; в наслаждении, которое Милосердый Господь даром предлагает всякому, кого леность и сон не удержат в темном углу, в часы ясного появления всемирного гостя природы, великолепного Божьего солнца. –

Ед. хр. 1001. Л. 16

Песня

Сербы, братья! Пора пришла, вставайте! Настало время кровь пролить за крест и за наш язык. Крепкой мышцей сербской ударяйте на недруга, какого бы Бог ни послал нам.

Дружно братья, ныне иль никогда дружно встанем все под знамя любви и единства; уж

синеет крест над Белградом – залог освобожденья от чужеземца.

Братья наши русские вот уж восстали и кровь льют за нас, всех славян, за веру нашу против нашего врага.

Уже настало время и Сербам воспрянуть от тяжкого сна, пора нам взять булавы королевича Марка[12] (слышите, конь его старый заржал!). Теперь возвратим себе царство Душина, если кипит еще в жилах наших геройская кровь.

Долгое время стонали мы в неволе под гнетом богомерзкого Закона турков. Куда дели мы наши сабли, наши пистолеты? Куда

---

[12] Легенда народная, по которой королевич Марко должен... <нрзб>). (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*) Ключом к этому примечанию может быть авторский комментарий к «Сербской песне» (Ед. хр. 981. Л. 6–7), являющейся, очевидно, результатом стихотворной переработки зафиксированного в «Песне» замысла (ср. начало стихотворного текста: «Сербы, братья! Встаньте бодро! – Будит вас военный клик: / Бейтесь смело, стойте твердо / За себя, за *наш* язык!..»). Комментарий гласит: «Есть предание в Сербии, что пред освобождением народа найдется булава Королевича Марка, заржет серый конь его и сам он восстанет на защиту своего языка, т. е. рода или племени». Ср. также коммент. 2 и 3 к «Сербской песне»: «От Немана произошел род Неманичей» и «Обилич черногорец славный подвигом самоотверждения». – *Ю. О.*

сложили оружие отцов? Где святыня рода Неманова[13], остатки святых князей, святые обители, ими сооруженные? За оружие, братья Ерцеговинцы! Вы, Босняки, и вы, Сербы – достойные потомки Обилича[14], храбрые черногорцы, – воспряньте все геройски против пророков алкорана и проклятого Османова сына.

О! Сербин, вставай на супостатов, вороти честь Сербскую с рокового Косова поля! И воздвигни снова свое царство, какое было наше за четыре века царство то великое Душана; вот рассветает день твоей свободы. И услышат отчаянье твоей славы по всему свету у последних границ земли, и потрясется до основания славная гордая Мекка от сильных ударов Сербского меча!

Ед. хр. 1001. Л. 16

---

[13] Неман – родоначальник сильной династии неманичей, сербских королей, царствовавших было трех веков с блистательной славой и угасших перед самым разгромом Амурата. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

[14] Серб Обилич, ранивший смертельно султана Амура в его палатке в самое время битвы Косовской и тут же растерзанный турками. Владыка Черногорский установил орден за храбрость с изображением Обилича. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

Обреченная душа

Это была одна из тех душ, которую Ангел, пролетая в лучшие, высшие миры, ненарочно обронил на землю. Предназначенная к бытию высшему, чистейшему, она досталась на жертву грязи, плоти и всем мелочным и докучным условиям *жизни земной.* От этого для нее жизнь не жизнь, а какие-то туманные странствования по земле страстей и пороков.

Луна, накинув на себя белое облачко, пошла гулять по синему небу.

Ед. хр. 1040. Л. 1

Видение

Дремал я под древесной тенью и видел во сне как наяву великое чудо, будто крест сияет над Белградом, и объял меня благоговейный ужас перед знамением тем чудесным. Крест сперва шел с Севера, остановился малое время над Белградом, потом пошел он далее на Восток и там уже остался. И загорелся он живым огнем, а полумесяц под ним судорожно сжимался, опадал все ниже и ниже, а крест все лучезарнее горел, пока месяц наконец совсем скатался с неба. Крест не сиял, и все небо вдруг загорелось его пламенным светом. Смотрел я долго и не мог надивиться Божиим чудесам.

И вот увидел еще Чудо великое, как все святые поклонялись пламенному кресту. Проснулся я и устремил глаза на Восток – видение светлое сияло и наяву.

Накануне недели Крестопоклонной.

Ед. хр. 1001. Л. 18 об.

[Авторский комментарий к стихотворению 1853 года «Поэт»]

В это время (золотое для страниц истории) по городам и селам, по горам и равнинам, с походных стоянок и на самых гранях полей сражений раздались то могучие, то уместные и везде задушевные голоса соловьев-поэтов. И вот музыкальное ухо и жаркое сердце русского человека внимает им с услаждением. И не думает, не загадывает вперед русский человек, полагаясь во всем до поры до времени на Бога русского и на свое «авось». И пока не придет пора да время, он слушает радушно пение и возгласы задушевного Русского Слова. И звучит это слово, всеми своими отливами в широких раскатах и переливах. И в этих переливах, в этом море звуков потонули и ледяное равнодушие, и суемудренные помыслы, навеянные западом, и, минуя всякие личности, певцы, разрозненные

пространством, праздномыслием слились в одну духовную семью, замыслили одною мыслию, заговорили одним языком любви к Отечеству, и Поэзия – дочь порядка и гармонии – со всею роскошью своих звуков и образов – вошла в первородные права свои.

Вот что подало повод к стихотворению «Поэт».

Ед. хр. 1001. Т. 2. Л. 79

Приложение 3
«Большая» аллегорическая проза Глинки

Две сестры, или Которой отдать преимущество?

Я знаю двух сестер... Как это слабо выражает мои отношения к двум милым, прекрасным существам! Я люблю, люблю пламенно двух обворожительных сестер, и сия любовь не знала бы предела, если б это прекрасное, высокое чувство могло быть решительнее, без колебания, без двойственности. Но я чувствую, что оно не может быть полным, единственным, от беспрерывного уклонения то к старшей, то к младшей сестре. Обе прелестны, но каждая имеет свои особенные прелести; обе привлекательны, но влечение к ним неодинаково. Одна сияет в полноте своей красоты, как ясный, погодный день, обнаруживающий всю живопись окрестностей, всю роскошь природы. Душа погружается в некое упоение, увидя сияние гор с поднебесностию, небес с стекловидностию мо-

ря; луга, подстилающиеся под рощи; большие дороги, лежащие, как развернутые свитки, и сады, как картины, окруженные рамами своих оград. Но очарование, так сказать, редея, истощается, когда душа, упоенная красотами великими, но единообразными, не находит новой пищи для нового восхищения. Напротив, другая мила, заманчива, привлекательна, как лунный вечер поздних дней лета. Я люблю такие вечера! Белые туманы, то затопляя, то выказывая закругленные холмы, чернеющиеся леса и развалины замка на острие скалы, волнуются, застилают белые скатерти или накидывают трепещущую дымку, которая, ничего не закрывая, ничего и не выказывает. Душа любит погружаться в сие смешение бледнеющего света, синевы небесной и сизого сумрака; любит ловить предметы среди зыбучих туманов и странствовать за рановидными тенями, которые, как будто живые, следом за луною перемещаются из долины в долину, от холма к холму. Такова вторая сестра, не имеющая ничего блестящего, но полная очарования.

Как прекрасна старшая! Вообразите стан и поступь Минервы. Что-то греческое в лице светлом, что-то римское в осанке величественной. Разум и тишина сияют в больших голубых очах ее, ненарушимое спокойствие в чертах лица, в чертах, которых согласие есть согласие превосходной музыки. Все в ней правильность, во всем отчетливость. Каждое движение – мысль; каждое слово – разум. Высокое красно-

речие льется из полных, румяных уст. Формы ее роскошно округлены и в самых складках одежды – обдуманная искусственность, ум и приличие. Важность сопутствует ей, осклабление уст соответствует мысли, сияющей на возвышенном челе. Все в ней открыто, все ясно. По виду – Юнона; мудростию – Минерва, осанкою – царица! Большая златострунная лира, украшенная драгоценнейшею отделкою, в высоком древнем вкусе, часто обращается в красивых, полных руках и звенит под белыми, округленными перстами ее. Что скажу о песнях, которые она поет о Царях, о народах, о великом, о божественном?.. Величественны и бессмертны, как возвышенная поэзия, они важны, усладительны и согласны, как гармония вселенной, как беседа веков, коей внимают поколения мимотекущие. Сии песнопения действуют прямо на разум, утоляют страсти, возвышают душу. Такова сестра старшая.

Как прелестна младшая сестра! Уловите кистью красоту радуги, лентою простилающейся между слоистых туч; определите музыкальными нотами переливы звуков, склонение перекатов коленчатой песни соловья! Изобразите на холсте быстро-переменчатые оттенки на лазоревой шее птицы Юнониной и тогда разве постигнете всю прелесть, всю миловидность младшей сестры! Но она не прекрасна, не величественна, в ней ничего нет важного, почти ничего правильного. Легкость – ее примета; чрезвычайно стройный стан – черта ее красоты; ка-

Не одни чертоги царей, не одни великие явления мира бывают содержанием ее песней.

Она передает события, случившиеся в хижине поселянина, в шалаше пастыря, в кибитке степного жителя, в ауле черкеса и в чуме лопаря. Младшая сестра любит города древние, где все говорит воображению и чувству, где на обломках зданий глубоко запечатлены следы веков. Прямые улицы, красивые площади, здания великолепные, хотя и единообразные, порядок и правильность нравятся старшей. Превосходно ее красноречие! Сама прекрасная, как поэма, она внушает восторги высокие, рождает думы величественные, вводит душу в сферу благороднейших наслаждений, знакомит ее с высокими идеалами. В ее рассказе единство, гармония, истина. Заманчивы, пленительны повествования младшей сестры! При ней пробуждаются мечты, освежаются надежды, воскресают воспоминания и все семейство страстей, соприродных человеку, приходит в движение. Что есть жизнь без бурей и случайностей? – спросил я однажды у младшей сестры. Вместо ответа она указала на пространное озеро, медленно, как человек, истаивающий от смертоносного недуга, замирающее в заглохлых берегах, исчезнувшее под густым наплывом тины, покрытой зеленью, мхами и папоротниками. Я понял смысл сего указания. Так душа, оторванная от сообщества существ, ее понимающих, не освежаемая обменом ощущений и мыслей, ни огненным веянием вдохновения, ни по-

рывами восторгов, ни бурею жизни, увядшая, стесненная пресмыкающимися нуждами, лишается пиитической жизни своей и в холодном бесстрастии, в гробовом спокойствии ненарушимого единообразия предается дремоте, самозабвению, чтоб наконец в глубоком усыплении прийти в оцепенение – не пылать, не волноваться; существовать, но не жить.

Однажды была гроза и буря. Густые тучи, набежав, поглотили звезды. Половина луны, как будто отсеченная мечом, долго бегала в растревоженных облаках. Наконец она исчезла. Заблистали изломчатые молнии и живописно браздили черное, бессветильное небо. Валы свинцового цвета, в венках из белой кружащейся пены, ходили, как привидения, по озерам. В воздухе было душно, в лесах темно; только молнии озаряли высоты золотым огнем, а фосфорические гнили, рассеянные по мокрой земле, сияли серебряным блеском, и холодные лучи земного встречались с пламенным сверканием неба. В это время, в этом месте нашел я младшую сестру. Она сидела спокойно в густом лесу на изломанном бурею дереве. Слух ее, казалось, ловил переливы свистящих вихрей, в ее очах изображалось какое-то юродивое забвение, локоны длинных власов, как и всегда, струились; крупные капли, при свете молнии, сверкали на них, как убор из перлов и яхонтов. Она не замечала меня, но я любовался чудесными прелестями сей уединенной очаровательницы. Она, мне сдавалось, хотела постигнуть

ту в виде тусклого, раскаленного шара, сокрылось в мутных облаках. Ветр зашумел более, леса зашатались сильнее; сошел благотворный сон и от печальной существенности увел меня в златые области мечтаний. – После многих смешанных видений представились мне столь дивные явления, что я намерен, любезный друг, тебе их описать. «Ты увидишь», – говорил чей-то голос, и я точно увидел прощание неизвестного мне молодого человека с юностию его. Я вспомнил недавно читанное мною, под сим заглавием, прекрасное стихотворение Козегартена и смотрел на все пристально. – Чувствительный питомец тишины, уединения и наук достигает черты, отделяющей юность от зрелых лет. Беспечность и неопытность позлащали дотоле рассвет безмятежной жизни его. Но время не ждет, порядок вещей неизменен. Юноша приближается к зрелым летам, должен вступить в теснейший союз с людьми и покориться уставам света. Старец, увенчанный сединами, почтенный, но суровый мудрец отверзает ему врата общества. На вопрос: кто такой был этот старец? – мне отвечали: это опыт; а та прелестная спутница, которая рассыпает теперь последние цветы свои к стопам юноши? «Это молодость его!» Разлука их печальна. Запечатлев последний пламенный поцелуй на устах юного спутника, она передает трепещущую руку его оледенелой руке старца, срывает розовую повязку с глаз и бежит!.. Страна новая, страна неизвестная открывается очам юноши. Стоны оставленного

раздаются в воздухе и в сердце моем. «Ты бежишь, о прелестная! – восклицает он, – ты исчезаешь, покинув меня в чужой и неизвестной мне стороне! Ах, я чувствую, что счастие мое улетит вместе с тобою. Душа моя привыкла жить ласками твоими; она стонет, томится и гонится за тобой... Кто скажет, что будет со мною в свете, которого я не знаю? Кто оживит увядающий дух мой, кто подкрепит меня на неизвестном пути новой жизни?.. Все в том ли же виде представится мне мир? Буду ли, как прежде, пламенеть восторгом при воззрении на красоты природы и лететь в объятия ее? Все так ли будет меня пленять светлая картина звездного неба, все так ли будет отрадой, утешением очей моих свежая зелень цветущих полей? Довольно ль, как прежде, одной слезы несчастного, чтоб подвигнуть в тот же миг душу мою к нему; одной приветливой улыбки человека, чтоб сделать меня другом его?» – «Нет! – говорит ему суровый опыт (и сиповатый глас его, как пронзительный крик вещей птицы в день печали, поражает грустию юное сердце). – Нет! ты вступаешь совсем в иную страну. Распростись с своими милыми мечтами, к которым приучила тебя счастливая юность. Предрассудки, страсти и прихоти людей готовят для тебя оковы. Зависть, ненависть и злоба острят кинжалы свои. Несправедливость с холодным равнодушием взирать будет на труды и достоинства и, раба слепого пристрастия, в глазах твоих раздарит все венцы свои любимцам фортуны слепой, как

она. Ты вступаешь в мятеж людских страстей, где случай возносит и случай низвергает. В трудах и сомнениях пройдет половина жизни твоей: будут иногда мелькать золотые надежды, но это лучи молнии, исчезающей во тьме. Скользки и тернисты прямые пути! Тебе укажут стези побочные, по которым пресмыкаются души низкие; дерзки и уклончивы по обстоятельствам, они хватают явно или, как ночные тати, похищают тайно награды у достоинства. Сердце твое, о юноша! открыто ныне всем страстям и всем ударам рока. Первая явится к тебе – любовь. Очарователен вид, прелестен голос и сладки обеты ее. “Пустота сердечная – несноснейшая мука в жизни!” – скажет она и станет проситься в душу к тебе. От кого получала отказ очаровательница сия и кого осчастливила она? Ты впустил ее – и грусть, уныние и скорбь вломились, ворвались вместе с нею, и спокойствие невинной души твоей исчезло, как сон!.. Исполненный чувством своего достоинства, ты дерзнешь быть выше твоего состояния и сделаешься посмешищем людей! От хижины до палат расстояние неизмеримо! Закоренелые предрассудки, как железные стены, отделяют людей от людей. Жители света, в который вступаешь, – крепостные рабы приличий и отношений. У них все делается по расчетам. Не исчисление достоинств, но счет денег определяет у них цену человека. – Ты говорил что-то о природе? – О! распростись с красотами ее!.. Тоска, суеты и заботы истомят, умучат душу твою;

грустно станет у тебя на сердце и темно пред очами... Не для печальных сияют небеса, не им улыбаются поля и долины!.. В сии минуты мрачного уныния, среди волнений и тревог, послышишь ты голос людей, которые украсят себя именем друзей твоих, ты побежишь к ним, как дитя, забытое в пустыне, бежит на голос, знакомый ему; они приманят и прельстят тебя, но...» – «Остановись, почтенный, но жестокий старец! не срывай так поспешно с очей моих пелены неведения: они еще слишком слабы, еще не снесут яркого блеску горестных истин твоих! – Картина, изображенная тобою, ужасна!.. Ах, воротись, воротись, ангел-утешитель моих протекших лет! Воротись ко мне, юность моя! Покажи, хотя издали, свои радости и отдай мне прошедшее!.. Возврати мне хоть вчерашний день!» – «Нет! – восклицает опыт, – скорей моря сдвинутся с мест и все реки в подсолнечной превратятся в течении своем, нежели вчерашний день сделается сегодняшним». – «Так что ж остается мне предприять в сей ужасной пустыне, называемой светом? На кого покинула ты меня, подруга неверная! О, юность моя! на кого?..» Но тут является жена с величием царицы и в блеске божества. – Одежда белейшая снега струями ниспадает от рамен ее! Лавры венчают возвышенное чело, и ветвь надежды зеленеет в деснице. Неизъяснимая приятность светится в сапфирных очах, и убеждение, струею чистейшего злата, готово излиться из уст ее. С небесною улыбкою приближается она к обу-

реваемому сомнениями юноше, и я слышу божественный голос ее. «Юноша! – говорит она, – узнай во мне добродетель! Я приемлю питомцев невинности под покров свой; я утешаю, креплю и сопровождаю их чрез мрачные области мира. Ободрись, опечаленный! и перестань сожалеть о разлуке с твоею юностию! Разве юноши творят великие дела? Разве для юношей отверзаются врата храма бессмертия? Взгляни в историю древнейших времен и убедись в истине слов моих. Разве юноша решил судьбу Маратонского бою? Юноша ли ринулся в бездну для спасения отечества? – Нет! Мильциады и Курции, Фемистоклы и Фабии – герои Греции и Рима – не были юношами в те, полные славы дни, когда великими подвигами запечатлевали имена свои на скрижалях бессмертия. – Захочешь ли обратиться к истории собственного твоего отечества: она представит тебе множество блистательных примеров, и даже в самые недавние времена. Не юноши были Минин и Пожарский, исторгшие из плена свободу России. Разве юноша, решаясь сочетать судьбу империи с судьбою битвы Бородинской, стал и бился за свободу отечества? Юноша ли, одними глубокомысленными соображениями, побеждал врагов без боя на высотах Тарутинских? Пала Москва, но, опершись на Кутузова, устояла Россия[15]! Ни тот, кто сказал, ни

---

15 Подлинное выражение из письма Димитр<ия> Прок<офьевича> Трощинского к пок<ойному> к<н>. Смоленскому. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

тот, о ком сказаны бессмертные слова сии, не были юношами. А победитель при Кагуле, а римникский и италийский герой в летах ли пылкой юности заслужили венцы бессмертия? – Нет! не юноши оказывали всегда и везде неимоверную твердость в страданиях и бедах, величие духа при падении царств и народов, постоянство и мужество в ужасном борении с судьбою... Кто ж сии люди, не умирающие в веках, сотворившие славу и могущество отечеств своих, облагородившие звание человека? – Это мужи! И – радуйся ты, которого я усыновлю, если сердце твое будет всегда послушно гласу моему, радуйся, ты будешь мужем! Как мужа, угодного мне, щедро наделю я тебя дарами своими. Я возведу тебя до той высоты нравственного усовершенствования, с которой все, что пленяет, дивит и поражает приникших к праху земному, увидишь ты очами мудрого в настоящем размере и виде. И тогда пусть блещут искушения мира, пусть гремят громы рока, ты смело вступишь на путь испытания и не колеблясь достигнешь сияющей цели совершенства нравственного человека... Тому ли страшиться угроз судьбы, кто научен мною презирать лютейшие страдания и даже самую смерть, столь ужасную для слабых и порочных душ! – С неимоверною твердостию, если только нужно будет, умрешь ты, как Регул или Катон, и, подобно Гермогену и Филарету, не изменишь отечеству ни под ножами убийц, ни в продолжительном страдании в узах. – Знаешь ли, кто

ободрял Монтезуму, когда, почия на углях, как будто на цветах, истлевал он на тихом огне, без содрогания, без стона! Кто подкреплял Муция, когда с светлым лицом, как будто при брачном алтаре, стоял он у огня, пожиравшего руку его? – Но я сделаю еще более. Я вознесу дух твой превыше всех ложных мнений людских и научу тебя презирать превратные толки света. В бурях гонения и под тяжестию цепей будешь ты независим и велик! Эпиктет и в рабстве не ведал неволи! Истинно благородный человек озаряет блеском достоинства своего самый мрак темницы и придает благородство цепям[16]. – Вдохновенный внушениями моими, ты не убоишься вещать строгие истины и сильным мира, и царям. При дворе Государя, на бурном море, под свистом пуль, у самого жерла огнедышащей горы, подкрепляемый мною, ты пребудешь непоколебим, и если вселенная станет сокрушаться вокруг тебя, ты не дрогнешь, исчезая вместе с нею, когда я буду с тобою! – Знаю все, что говорил тебе опыт, – но чем печальнее истины опыта, тем необходимее советы добродетели. Конечно, трудны в жизни прямые пути; тебе укажут стези уклоненные. – “Исчезай во тьме или ползи за нами”, – закричат тебе толпы пресмыкающихся. “За нами! за нами! – повторят дру-

---

[16] Темница, говорит Мендельсон, лишилась всего, что соединено было с нею бесчестного, когда Сократ заключен был в ней. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

гие. – Мы ищем счастия и достигнем его!" Но счастие, как радуга, всегда блестит и манит, а никогда не достается в руки бегущим за ним. На земле только сияние; а вечная обитель его в небесах! – Жалки и презрительны будут в глазах твоих искатели личных выгод. Платя за все лестию и уничижением, рабски служа прихотям сильных и в поте лица работая пороку, они вымаливают, как убогий, свой насущный хлеб, ничтожные блага жизни, не имея благородной твердости отказаться от них. "Но вот дары Фортуны!" – закричат тебе со всех сторон те, которые обыкли называть счастие фортуною, не зная, что она есть только ложный оттенок, слабейшее подобие истинного счастия. Высоко ценя условное, пременное и мнимое достоинство даров богини своей, они с восторгом будут твердить тебе: "Мы получили их прямо из рук фортуны, мы облагодетельствованы ею!" Если б, к несчастию, и прельстился ты ничтожными дарами сими, то попробуй только спросить, как получили и какими стезями достигли они до получения оных? Сей простой вопрос разрушит все очарование в глазах твоих. Низкие средства и грязные пути никогда не будут уделом питомца добродетели. Стоит только рассмотреть, кого награждает фортуна, чтоб презрить все то, чем награждает она. – Есть, однако ж, другие дары, сын мой! которые бесценны для тебя будут. Я вижу, что небо наделило тебя даром воспевать на лире. Благословляй небесный дар сей и старайся, о, юноша! соделаться

достойным оного. Знай, что к восприятию чистейших небесных вдохновений сердце человеческое должно быть предуготовлено добродетелию! Порочное сердце подобно нечистому сосуду: и самое лучшее питие портится в нем. Один язык нежности и чувствительности может очаровывать души. Ум издает только блеск, но убеждение льется всегда из сердца. Дар говорить истину и выражать с приятностию благородные чувства и высокие мысли есть первейший из всех даров. Из мрачной неизвестности голос твой будет трогать и убеждать жителей городов и чертогов. Соловей, сокрытый в уединенной куще, при общей тишине природы, под розовым сиянием вечерней зари, поет – и глас его растекается далеко по зеленым долинам и цветущим лесам. Поселянин из укромной хижины, вельможа из позлащенных палат и чувствительный государь, исторгшийся из душной столицы, чтоб насладиться дыханием весны, равно выходят слушать песни его. Так точно для всех и каждого раздается песнь в честь добродетели и истины. Песнь сия, как отзывы горного эха, прейдет из рода в род. Уединенного в отдаленном краю, сокрытого во глубине пустынь, тебя никто не будет ни видеть, ни знать; но мысли и чувства твои, облеченные прекрасными выражениями, ходить будут по свету и очаровывать людей. – Пусть, говоря словами опыта, пусть и не оценят дарований твоих! Вразумленный советами моими, ты не предашься от сего унынию. Мудрый человек

подобен светильнику, поставленному во мраке: пользуются ль, нет ли сиянием его – он всегда равно светит!.. Виноград, сокрытый в уединенном углу сада, ничего не теряет от того, что, созрев, останется от лоз не отделенным; теряет тут садовник, который не умел или не хотел отыскать и употребить его в пользу. Плененный красотами изящного, ты будешь стремиться к оному, нимало не замечая, ободряют или порочат стремление твое. Общество без порицателей изящного, как лето без вредных насекомых, быть не может. Но не возмущаясь шумом предрассудков и суетливым движением мелких страстей, иди прямо к цели, указанной мною. "Современники редко бывают справедливы!" – восклицает опыт. Испытаешь ли сие над собою? – не сокрушайся!.. Пиши великие истины, налагай на них печать скромности и надписывай: "Потомству и векам!". "Ты вступаешь в области испорченной гражданственности и должен покориться строгим уставам общества: люди, никогда почти не умеющие предчувствовать и редко могущие даже понимать превосходные дарования, окутают, стеснят тебя многочисленными обязанностями и свяжут своими ничтожными правилами!" Так говорил опыт. Что нужды! скажу тебе я: все их препоны суть то же, что наносный сор, хворост и камни, тщетно преграждающие течение потока, предопределенного быть великою рекою в мире. Он разрушает оплоты, брызжет чрез пороги, рвется из берегов и, представляя величественную

картину борения с преградами, роет пути себе меж гор и по лесам и бежит шуметь и славиться в далеких странах.

Внял ли ты словам моим, юноша? – вещала добродетель. – Замкни их в сердце своем, как драгоценнейшие камения и перлы; ибо почувствовать цену изящного и приятство добра есть стяжание высшее всех богатств и сокровищ.

Добродетельный человек есть любезнейшее из всех существ в подсолнечной. Сердце его чисто, совесть покойна, лицо светло. Ощутя сладость одного доброго дела, он забывает о благодарности и без всяких расчетов творит добро, единственно для добра! Тогда-то в сердце его пробуждается особое чувство, чрез которое он тотчас слышит тайные стоны несчастных. Часто, украдкой от людей, под мраком позднего вечера исходит он на делание добра. Ни зимняя стужа, ни буря, возмущающая природу в ночи, не могут помешать ему посетить бедного страдальца, исчезающего от глада на соломе, и отереть слезы бескровной сироты. Но из единой любви и отнюдь не из самолюбия творит он добро, ни похвал, ни наград за оное ни от кого не ожидая. Свидания с бедными суть милые тайны души его!.. В волнении шумного города, среди великого множества бесчувственных людей он подобен хотя малому, но зеленью, цветами и плодоносными деревьями покрытому острову, утвержденному природою на необъятной широте пустынных морей: все гонимые бурею и судьбою, все подверженные бедам и ужасам

кораблекрушения имеют верное прибежище к нему! – Чувствия добра, исполнив сердце неизъяснимою приятностию, изливаются и на все черты его лица[17]. Сколь благороден, сколь приятен вид добродетельного человека! Он ясен и тих, как румяный весенний день; злодей пасмурен, как осенний вечер, уединен и печален, как вещая птица. Душа первого есть светлый источник, в котором сребрится небо и алеет заря; душа последнего – темный и болотный поток! Блестит и разливает жизнь первый; темнеет и заражает воздух последний. – Среди испорченной гражданственности, в глубоком мраке предрассудков человек добродетельный сияет, как уединенная звезда над пустынею: все блуждающие по скользким путям жизни над безднами, изрытыми страстьми, направляют по нем стопы свои. Так, любезный юноша! внемли советам добродетели и живи для одного добра. Но знаешь ли, почему советы мои священны и куда они тебя ведут? Ужли думаешь, что я, воз-

---

[17] Знаменитый Лафатер ясно и убедительно доказывает, что злые страсти и пороки обезображивают лицо, а добрые свойства сердца украшают оное какою-то особенною приятностию, даже и тогда, когда оно от природы безобразно. – Гуфланд называет кроткие страсти – друзьями жизни, а страсти бурные – врагами оной. Почти смело можно сказать, что человек без злых страстей есть ангел. Но есть ли такой человек? (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

выся, укрепя и облагородив дух твой, оставлю тебя пресмыкаться в тине и прахе и не покажу ничего, кроме земли сей, промокшей от крови и слез истлевших на ней народов!.. Она то же в необъятном пространстве вселенной, что песчинка на береге морском. Не странно ли б было научать всем глубоким познаниям мореходца того, кто осужден целый свой век плавать на малом потоке? – Нет! Постигшему таинства высокой науки предлежит плавание по неизмеримому океану. Юноша! за потоком, называемым временною жизнию, есть беспредельный океан вечности. – Придут лета и сорвут с тебя блестящую оболочку красоты и младости; придет смерть и расшибет скудельный сосуд, в котором заключалась бессмертная душа твоя. Божественная пленница сия, свободясь земных оков, улетит в небесное отечество свое, где нет уже ни стонов, ни воздыханий, ни бурного мятежа страстей. Мысль о бессмертии проливает неизъяснимо сладостное утешение на раны растерзанного бедствиями сердца. Одна только сия мысль могла утешать Колумба, мужа, знаменитого открытием другой половины подсолнечной, когда, гонимый лютейшими врагами, брошенный на полуистлевшем корабле, под чуждым небом, на неизвестных морях, он томился под бременем старости, недугов и возложенных на него злобою оков. – Так, юноша! надежда на бессмертие столь же необходима для всякого человека, как якорь для пловца на море, как посох для старца на скользком пути.

Пусть преследуют его змеи зависти, пусть терзает дух злобы. – Лишенный всего на земле, гонимый праведник имеет еще верное убежище от могущества и злобы людей – на небесах! С земными судиями будет он судиться пред общим Судиею мира. Он охотно расстается со всеми сокровищами света и просит только, чтоб кровавые одежды или тяжкие цепи его сопутствовали ему во гроб. О, страшен будет глас невинной крови и звук неправедно возложенных цепей в тот ужасный и великий день, когда тысячи поколений восстанут от тления на общий суд. Гласа и звуки сего не сильны заглушить и громы распадающейся вселенной. Радость возблестит на челе праведных, и оледенеют от ужаса порочные сердца!.. С тайным смятением внемлешь ты словам сим, сын мой! требуешь уверения. “Кто убедит меня в истинах сих?” – я читаю вопрос сей в сердце твоем; прочти ответ мой в небесах! Возведи очи горе!.. Видишь ли ты там, в лазоревых полях небес, прелестную деву сию? Это Вера Светлые радуги – одежда ее; златые власы льются по раменам, и никакая кисть не изобразит божественного ее лица. Седьмь звезд совокупным слиянием лучей своих образуют венцу подобное сияние над возвышенным ее челом. Над ней и вокруг ее, с непостижимою стройностию, движутся тысячи миров и тысячи солнц сверкают, как светлые искры инея на снежных полях. Крест блестит в деснице; а фиал утешения в шуйце ее. По розовым зарям и лиловым оттен-

кам неба сходит она из великолепных градов небесных в скудные красотами пределы земли. – Так! знай, сын мой! что добродетель провождает к вере, а вера к вечности. Вера без добродетели и добродетель без веры – мертва! Истина сия была прежде достоянием только немногих избранных смертных: Сократ и Платон постигали ее. Ныне Всемогущий Творец открыл ее и малейшему из людей своих: веруй, молись и ожидай!» – вот последние слова, услышанные мною!.. Первый луч дня коснулся глазам, и я проснулся!.. Что значит сон мой! изъясни мне, любезный друг! Не видал ли и ты когда-нибудь подобного? Прощай!

Приложение 4

Слова (речи, молитвы, начертания и др.) видящего

«Слова Видящего»

Слова сии (речи, молитвы, начертания, изображения и проч.) помещены здесь *смешанно*, без разбора, без *последовательности*. Эти слова извлечены из 16-ти разных книжечек, где они были записываемы в самые дни и часы *видения*. Дар видения продолжался несколько лет. На *духовном горизонте* являлись *виды, образы*, иногда по три раза в день одно и то же, иногда оставались *по три дня сряду, пока их не переносили на бумагу*: тогда уже исчезали из виду и памяти видящего. Видения являлись большею частию *на молитве* и сопровождались *такою радостию*, что *видящий*, полный восхищения и сладости, чувствовал чудесное, восхитительное, – как бы переносился совсем *в иной мир*. – Казалось, на земле оставались только его одежды!!! Ни годов, ни месяцев в сем извлечении порядочно не означено: порядка искать не

должно. Тут все смешано, но зато *совокуплено* в одно целое.

Если бы на месте моем был *Брюллов*, какие восхитительные *картины* списал бы он с являющегося ему: никакая фантазия гениального художника не может сравниться с святостию, изяществом и блеском того, что *виделось*! – Но я, *вместо образов недосягаемой красоты*, чертил кривизны и карикатуры; потому что *решительно не умел рисовать.*

Ед. хр. 1034. Л. 1

Первое (и весьма замечательное) видение видящего должно, без сумнения, принадлежать к ряду высших, *мировых* откровений. В 1822-м году, поздно вечером, сидел я в своей квартире за книгою *светского* содержания. Вдруг почувствовал *влечение к молитве.* Я был один, сам у себя хозяин, и поэтому свободно мог молиться, когда хотелось. – Прежде всего, я должен, может быть, описать *местность* моей квартиры. Я занимал покои, окна которых, если стоять к ним лицом, так были расположены, что из них можно было смотреть *вправо вверх* по течению Невы (к стороне Невского монастыря) и *влево вниз* по течению той же реки ко взморью и далее к стороне Кронштадта. Эти взгляды можно было делать *более мысленно*, ибо квартира моя была не *на набережной.* – Мысленно же мне показалось, что я находился между *Востоком* и *Западом.* – Став на колени, я

начал молиться и, углубляясь в молитву, по обыкновению и по некоторому влечению, закрыл глаза. Лишь только я это сделал, картина огромная, изумительная и вместе *живая* и *кипящая действием и движением*, представилась мне.

Вдруг раздался слева (с *Запада*) шум и темнота стала, если можно так выразиться, еще *темнее*. Но в этой тьме ясно видеться стало *целое ополчение* летящих черных существ. Каждый имел как бы вид *черной собаки* расплюснутой, раздавленной, с распростертыми по воздуху четырью ногами и каждый снабжен был кожаными (вроде летучих мышей) крыльями.

Ед. хр. 1033. Л. 1 об. – 2

Он видел еще Россию в ее отдаленнейшем будущем. Я видел (говорит он) прекрасный летний день. Поля были осыпаны лучами роскошного солнца. Но никого не было видно в полях. Долго смотрел я на роскошь природы *безлюдной* и долго ни одно человеческое существо не показывалось виду моему. Но временами пробегали полевые звери (плотоядные и кроткие вместе в каком-то дружном согласии), но человека не было. Наконец послышалось отдаленное пение, согласное, приятное. Оно приближалось, и я увидел толпу поселянок, возвращавшихся с работы. На голос песен <нрзб.> Западной

России они пели нечто вроде гимна *духовного содержания.* Я уразумел, что вместо нынешних плотских и светских песен они пели *песнь хвалы и благодарения* Богу за счастливую жатву. Я вслушался в последние слова: «Мы прославим Бога».

Ед. хр. 1033. Л. 4 об.

Однажды (летом 1825 года) видящий, выйдя на большую дорогу за Петербург, вдруг увидел (умственными очами) всю дорогу, стесненную от длинных бесконечных обозов. Необыкновенно гадкие хари, рожи, уроды теснились по дороге в направлении к дальнему Северу. Три дня продолжалось это видение и, наконец, он увидел огромного толстого *змея*, почти издохшего, которого эти *народы безобразных* везли куда-то. *Змей-великан* был черный и гадкий. Сказано: «Вывозится змий великого разврата».

Ед. хр. 1033. Л. 10 об.

1834, февраля 21-го, вечером на молитве.

Я видел: медный *полукруг* с *долями*. Стрелка не дошла только *пяти* минут до 12-ти. – Сказано: «Скоро XII часов, пойдет *другая половина времени*».

Ед. хр. 1033. Л. 37 об.

1826, февраля 2-го.

Вижу к небольшом золотом кружке изображение пресвятыя Девы держащей (с заботливостью) на левой руке, обеими руками, сына. Около круга, в коем помещено изображение, вьют *знамена, торчат трубы, топоры, копья, стрелы* и, наконец, изгибисто сверкают молнии.

Дитя как бы пугается – матерь успокаивает. На трубах написано: «*Войны, войны!*». На знаменах стоит: «*Битвы, битвы*!», а между изломами молний написано: «Громы». – Над Девою надписано: «*Матерь*», над младенцем: «*Хранимый*».

Ед. хр. 1030. Л. 2

В трех циркулях три *ока* и три *рога* изобилия с *белыми цветами* – очи и рога (натуральные) под завесами из лучей (в центре круга – текст: «Земля, аки овощное хранилище, очистится, и на нивах, обновленных благодатию, возрастятся семена *правды* и людие поживут БОГОМ»).

Ед. хр. 1029. Л. 9

Вижу множество оружия (всякого рода), крепко связанное терновым венком. Свыше от имени АДОНАИ* падает огонь на оружие, пышет и пожирает. «Господь сокрушит оружие и сожжет огнем щиты нечестивых».

Ед. хр. 1030. Л. 4 об.

---

* АДОНАИ – I.H.V.H. – IEHOVAH. (*Примеч. Ф.Н. Глинки.*)

Вижу над *алою лентою – три золотых циркуля*. В среднем *большие*, в боковых *меньшие часы. На всех трех часах стрелки* показывают: – двенадцатого часа. Внушено: только – остается до *События... Все три* показывают единое. – Только одна четверть до события!..

Ед. хр. 1030. Л. 5

1825 ноября 25-го.

Ясновидяшему слышались голоса (множество голосов), восклицавшие: «Упал, упал *Град Мира!*» и виделось ему, как будто рассыпался град и стены его и проч.

Ед. хр. 1035. Л. 7

10 декабря 1825-го (при воззвании имени Иеговы)

Видел множество весов и слова: «*Весы*, весы правды и правосудия Божия для человеков: да получит каждый по делам своим в 1825, 1826, 1827-м году».

Ед. хр. 1030. Л. 9

Я видел ряд флейт, *сложенных по тонам как в органе*. Эти флейты были прозрачные. Когда *сзади них засветился огонь* (*огонь усветляющий*), то они все почти просветлели, только немногие *еще оставались под тению. Над этим рядом флейт написано* сверху: «Цар-

ствие Божие – будет царствие светлое и гармоничное».

О флейтах: немного флейт остается неосветленных. *И Бог уже готовится взыграть.*

Ед. хр. 1034. Л. 18

Я вижу Око. Я вижу его с закрытыми глазами, это Око заключено в центр треугольника, от которого, по всем трем сторонам, сверкают золотые *изломчатые* лучи. *Око* проплывает перед линиею моего зрения в воздухе; оно, *золотое*, окружено златоогненными молниями. Оно грело, как солнце, при словах: «И яви мне свет Твоего спасения!»

Ед. хр. 1034. Л. 1 об.

Я вижу *око*. Оно округлено двумя сомкнутыми циркулями. По сторонам циркулей написано: «*мера к мере*», а внизу: «*Исполнится!*» – око и циркули золотые. При том: «*Размеряй! слушай! Гляди – и действуй!*»

(25 марта (в день благовещения) 1825)

Ед. хр. 1034. Л. 1 об.

Все подобные изречения являлись или написанными на воздухе золотыми буквами, или в книгах, которые развертывались, или на свитках, и коль скоро их записывали, они исчезали.

Ед. хр. 1034. Л. 2 об.

Пред суд старцев, судящих в высоте, Ангелы приносят в одной руке *хартию грехов* человека, а в другой кристальный сосуд с слезами покаяния.

Ед. хр. 1034. Л. 3 об.

Я вижу картину. Ночь. Луна в растревоженных облаках; воздух и небо все очень синее. Луна бледная, полный круг. Внизу море волнуется волнами; но на них спокойно (равновесно) стоит златая ладья особого вида – края все с треугольными желтозлатыми зубцами (и ладья вся из злата желтого). В ладье во весь рост <нрзб.> с осанкою смелою торжествующей царицы, спокойно и надежно стоит Матерь Божия и держит за руку (за левую руку) стоящего справа от нее Иисуса-младенца. Они непоколебимы. Над Девою дугообразно написано: «Матерь, успокаивающая сына посреди бури». На лицевом же боку ладьи золотыми же литерами: «Никакие волны не одолеют!» – А пониже на просторе (моря) белыми буквами: «Сей знак хорошо иметь при себе во время бедствий жизни и треволнений мира».

Ед. хр. 1034. Л. 13 об.

Я вижу длинный ряд наугольников, один за другим сцепленных (идущих вверх); на самом верху *шар* золотой, *собственным светом* сияющий. Под этим *гиероглифом* есть *объясни-*

тельная надпись: «Многие суть обители *у Господа Саваофа* и *вся содержит их, устрояет и блюдет*».

Ед. хр. 1034. Л. 10

Я видел два мусикийских струнных инструмента, накрест сложенные. Под ними слова: «Гармония начинает уже образовываться во Вселенной, в мире и на земле».

Ед. хр. 1034. Л. 18 об.

Они рвались, порывались (как рыбы выплескиваются из воды) взглянуть хоть раз на высоту, сказано: «Это души, жаждущие узреть лице Божие».

Ед. хр. 1034. Л. 18

Я вижу море безбрежное, страшное, бесприютное. Нигде нет ни пристани, ни спасения. Горе бедствующим на этом море!.. Но вот <нрзб.> плывет корабль. С него наклоняются, опускают каналы и спасают боровшихся с волнами и смертию... Мне сказано: «Вот корабль спасения на морях гибели». Итак есть еще и там спасение!!.. О, как милостив Господь!!!..

Но это милосердие выразилось еще в большем объеме! Я увидел (чрез два дня) опять море, и опять море бесприютное, погибельное... Не видно было ни берегов, ни края земли. За

что уцепиться погибающим? – Вдруг показывается, плывет, несется целый плавучий остров. На нем видно здание и одна красивая башня с ликом Спасителя. Сказано: «Целый остров спасения на морях разврата! И этот остров плавает, близится, ищет и приемлет погибающих. О, неизъяснимое милосердие!! О, провидение, пекущееся обо всех и обозначающееся в стольких видах».

Ед. хр. 1034. Л. 14–14 об.

Я вижу большую птицу, похожую на пеликана. На хребте этой птицы между крылий есть углубление, наполненное птенчиками ее. Птица важно ходит по земле и, сбирая пищу, обращает назад голову и питает птенчиков своих. Над этим слова <нрзб.>.

Ед. хр. 1034. 18 об.

Будучи возвышен, я чувствовал неизъяснимое упоение и радость восхитительную. Я постигал прелесть рая. Я был весь любовь, весь благоговение. Всех врагов, всех недругов готов простить, готов обнять, облобызать. Я весь был любовь и молитва. В груди моей светлело!!!

Ед. хр. 1034. Л. 19

Я вижу Господа, ходящего по небесам. Он протекает теперь области средних звезд и в одной из них произносит свой суд. – Ангелы по-

всюду летят, радуясь, во сретенье ему. Я слышу голос в небесах: «Саваоф! Саваоф! Саваоф!» Я слышу явственнее только одни гласные буквы: «ААО... ААО».

Ед. хр. 1034. Л. 10

Я слышал восхитительное пение в высоте и видел во множестве одетых в белые одежды. Они рвались, порывались (как рыбы выплескиваются из воды) взглянуть хоть раз на высоту, сказано: «Это души, жаждущие узреть лице Божие»

Ед. хр. 1034. Л. 18

Я вижу Михаила, как он у Рафаэля написан.

Ед. хр. 1034. Л. 13 об.

Тот же ангел показал мне Евангелие (книгу).

Ед. хр. 1034. Л. 7

Я вижу книгу. Она одета в белый пергамент. На книге написано: «Алфион» <нрзб.>.

Ед. хр. 1034. Л. 2

Я вижу книгу в белобархатном переплете с позолоченными краями листа, на лицевой стороне переплета золотые ветви: одна с золотыми

плодами, другая с цветами. Подписано: «Господь образует *землю обновлением* красоты и благодати в человеках».

Ед. хр. 1034. Л. 4 об.

Вижу: стоит дерево – по виду ель или кедр, над этим деревом, в виде свода, дуги из золотых звезд; этими дугами осенено дерево как шатром. С разных сторон идут, спешат люди (усталые путники), подходят под звездный свод и жмутся к дереву. Объяснение гласит: «Все соберутся к Единому Древу Успокоения».

Ед. хр. 1034. Л. 11 об.

Огромный яловый вол с повозкой бьется, барахтается и тонет в тине, в мрачном разливе отхожих мест. Надпись: «Сила нечестивая тонет в кале греховном».

Ед. хр. 1034. Л. 13

Нарисовался очень светло-желто-золотистый жезл или как бы скипетр, на вершине его орел. На нем по длине его написано: «Уже последние дни ликования грешных истекают». Позади жезла страшная темнота, какая-то мгла цветом как железка.

Ед. хр. 1034. Л. 13

И вижу я – во сне и не во сне –
Прекрасные и светлые виденья:
Душа гостит в какой-то стороне,
Где нет ни бурь, ни шума, ни волненья.

И много там эмалевых цветов,
И много видов живописно-дальных:
Там воздух слит из звуков музыкальных
И голосов невидимых певцов.

Гармония повсюду там видна:
Там царствует сын мудрости – порядок.
За то там *счастьем* так душа полна!
И бытия миг каждый там так сладок!

Ед. хр. 1001а. Л. 82

Приложение 5
Неопубликованные «Мысли» Ф. Глинки

Уничтожить Авторитеты в литературе то же, что уничтожить точки и запятые в периоде речи: там и там произойдет смешение.

Мир здешний не должен слышать молитвы внутренней.

Что за страсть теперь к навозу?
Любим сор в стихи совать:
А бывало, так и в прозу
Поэтическую розу
Мы любили заплетать...

Современные события суть знаки, которыми небо переговаривается с землею!..

Когда отрицающий Христа напрашивается членом в общество, это все равно, что мокрая лягушка влезет насилу за пазуху...

«А мы просо сеяли... сеяли...» – поют умеренные. «А мы просо вытопчем, вытопчем!» – бешено восклицают радикалы. Все друг на друга косозрятся: схватки нет, а война без пререкания!..

Одно начало травит другое, употребляя вместо собак пролетариев. Но эти псы, не догнав добычу, обращаются на самих псарей!

Ед. хр. 1006. Л. 12 об.

Им слишком наскучило ровное течение, в зеркале которого отражались Солнце и Луна (закон и порядок); им захотелось шуметь водопадами, и шумят теперь водопадами пополам с грязью...

Наука захотела занять место религии, и профессора задумали стать вождями народов, хотя, не имея жезла Моисеева, они не могли провести их через Чермное море, а только погрузили в море чернил и запутанных писаний.

Конечно, роскошь, усотерившая нужды, искусственная, была одним из главных средств, подготовивших настоящие события. Но испровергатели бывшего порядка похожи на лакеев, которые, осуждая богатую одежду и сытные столы знатных, рады потом носить обноски и облизывать тарелки своих господ.

Карикатура коммуниста

Что же делать нам теперь? Ничего! – Стоять и смотреть или делать то, что делали при пожарах. Соседний дом горит, накиньте на свой войлок осторожно и взмачивайте его влагою благоразумия.

Когда коммунисты переладят по-своему свет, тогда семьи уже не будет. Тогда останется семья только у кошек, которые очень стоят за своих детеньшей, да собак. Тогда курица будет хохлиться за свое семейство, а человек свое бросит!!!

Человек – живой Глагол в Грамматике Вселенной. Он один – уста земли – может говорить за всю Землю и тварей ея. – Иисус – слово Божие – сошел на землю к слову.

Слеза благодарности дороже бразильского алмаза!..

Современное человечество похоже на картину, которая, выползши из старых рам и не находя новых, хлобыщется по всем ветрам, ожидая человека, который вправил бы ее в свое место.

Когда повеет буря злополучия, завернитесь в мантию терпения и выживете.

О чем здесь говорят, я этого не знаю, но о чем здесь совсем не говорят, это я знаю. Здесь не говорят о трех предметах: о смерти, о сатане и о Христе.

Здесь время так к о р о т к о, что я решился читать только город глазами, а газеты – ухом.

В наше время происходит растирание красок. Каждая должна прийти прежде в свой цвет, в свою густоту, и тогда только мастер начнет писать картину на холсте уже натянутом. Холст века уже натянут, краски (народов, партий) растираются; картину (новый порядок) напишет Мастер – Бог!

Судьба человечества (как некогда ветхий закон у Евреев) написана одними согласными буквами. Поэтому немногие только (как чтецы у древних Евреев) читали и могут читать в книге судеб и воля Божия темна для всех. Бог поставит гласные по местам, и вдруг все прояснится и всякий узнает прямую Волю Божию и царствие его на земле.

Наука

Что такое (нынешняя) наука? Это чудище с прекрасною женскою головою и грязным змеиным хвостом. Медовыми своими устами и улыбкою прекрасного лица, получает она везде свободный доступ и – на хвосте своем – приносит: безверие, скептицизм, разнузданность и наконец: разочарование, уныние и, на самом кончике ее грязного хвоста, торчит пистолет – насильственный проводник из бытия, в котором есть <нрзб.> и в которое утратили веру в бытие, в которое уже не верят.

На огромном листе небосклона Бог напишет волю свою молниями и разглашает о ней громами. Но люди видят, слышат – и не верят!

Ед. хр. 1006. Л. 9

Сердце человека должно быть компас, которого стрелки – (воля) – всегда должны обращаться к оному и указывать одно – Бога.

Ед. хр. 1006. Л. 16 об.

Россия, которой держава ограничивается океаном, а слава – звездами.

Ед. хр. 1006. Л. 21 об.

Раскройте историю... Перед великими событиями в мире (пример: перед падением Константинополя) люди всегда занимаются пустяками.

Ед. хр. 1006. Л. 22

Муж и жена должны разыгрывать сонату жизни в четыре руки; удерживать желания свои на поводах терпения; бока лени пришпоривать шпорою воли.

Отрезывая кому ломоть существенности, помажь его всегда маслом надежды.

Тайна жизни высказывается в глухом звуке гроба, вздыхающего от первой горсти земли, на него брошенной.

У коммунистов: рождение – без крещения, брак – без венца.

7 августа 1847 года.

Высоко поднялся и шумно расходится в наше время океан Волей Человеческих. Волны бьют, хлещут и сбивают все старое, кое-где только в виде темных точек мелькают бедные остатки старых *порядков.* Все новое... Но это новое, за брызгами, туманом и мглой, не может быть хорошенько рассмотрено и определено. Подождем, увидим! –

Апокалипсис совершается и в голове: одни мысли встают, идут, другие (противные) восстают на них. Сражаются. С одной стороны, все падает, разрушается... с другой – все восстает. Дайте этим *мыслям образы,* одни пойдут ужасными чудовищами, огнем, бурями, кровавыми видениями, другие мысли – кротким веянием, тихим светом и т. д.

Ед. хр. 1040. Л. 10 об.

Толкуют о возможности или невозможности сношений с невидимым (ангельским) миром; а дело *просто.* На сладкий кусок сахара, на цветок, полный меда, пчелы слетятся сами собой. Будь честен, уснасти сердце свое добродетелью, тогда *пчелы небесные* (ангелы) сами собой будут роиться около тебя. *Любовь низводит* ангелов к человеку, а *Вера возводит* человека к ангелам.

Ед. хр. 1040. Л. 11 об.

Представьте себе дом в два, в три этажа. Первый этаж очень холоден, там окутываются шинелями, шубами, свежим теплым снадобьем и дорожат (и нельзя не дорожить!) всяким тряпьем. Те же люди переходят во второе жилье (второй этаж), где хорошо *натоплено.* Там небрежно, охотно сбрасывают с себя шубы, шинели, все, что считали необходимым. Дамы, пожалуй, и рубаху готовы сбросить. Вот переходы христианства: в первый день накрепко держатся за собственность (и нельзя <нрзб.>), в второй уже охотно делятся излишком; а когда достигнут единого на потребу, тогда готовы и все отдать.

Ед. хр. 1040. Л. 15 об.

Видали ль вы, где-нибудь на гладкой луговине, спокойный (чисто зеркаловидный) поток от дождевой или ключевой воды? – Он лежит или тихо движется по условиям местности, по направлению, ему данному, в нем водятся и рыбы, и гады, и водяные травы, и насекомые; но в нем же *отражается* небо. Совершая как и все земную судьбу свою, он *полон небом*!! – Таков должен быть христианин!! – Покорный своей участи отражает верно все изменения неба: тучи, тревогу облаков, затмение светил, все повторяется в нем. Эти интересы *не его собственные:* они мировые, высшие. Иаков должен быть христианин, подчиненный дрязгам земным, но полный неба и неотразимого сочувствия к Высшему!

Ед. хр. 1040. Л. 28

Земной быт наш можно сравнить с танцевальною залою, в которой орхестр *скрыт за стеною. Звуки* носятся по зале, но *музыкантов* не видать! А мы танцуем под музыку! И счастлив, кто танцует в такт: *потеря такта – грех*!

Мы только (и это верх нашей науки) можем различить, *что играют*: мазурку, польский или минуэт, а *кто играет* – не знаем! – Воля остается при *каждом*. Всякий может танцевать и не танцевать; но, пустясь в танцы, не должен танцевать польского по звукам мазурки или вальсировать по минуэту. Поступая иначе, он будет чувствовать беспрестанную *неловкость*. Внутренний голос будет говорить ему: не то ты делаешь; не так понимаешь музыку, или ты сбился с каданса, запутался и других путаешь.

Вот картина нашего времени. Скептики усумнились в существовании музыкантов, философы положили, что слышимые звуки суть просто коренная принадлежность воздуха и раздаются в воздухе *случайно*.

Твердая же (упрямая) воля современников говорит: «Я все преодолею! Зачем верить существованию невидимых музыкантов, зачем вслушиваться в лад и меру звуков? – пустое! Я стану плясать мазурку по минуэту!! – И пляшет. Но беспрерывная неловкость в положении, беспрерывные столкновения, запутанность доказывают, что в *зале современности* человечество потеряло *каданс* и пляшет не под музыку.

Ед. хр. 1040. Л. 8–9

Литераторы – застрельщики нынешних политиков – открыли грязь на улицах политики (социалисты, коммунисты). За то, что улица грязная (а какая же улица не бывает грязной?), хотят сломать всю улицу! И сотни прекрасных домов должны быть разрушены до основания за то, что на улице накопилась грязь. Не лучше ли надеть калоши и пройти по грязи, и улицы не ломать?

Ед. хр. 976. Л. 7, 8 об.

Приложение 6
Рецензия В. Титова на книгу Глинки, опубликованная в «Московским Вестнике»* М. Погодина (1828. Ч. 1)

Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе, соч. Ф. Глинки. СПб., 1826 в Типографии Главного Штаба. in 12.

Начало Аллегории на Восток; оно современно началу всякого баснословия и Поэзии. В первые времена мира человек чувствовал везде присутствие тайных, высоких Сил и не мог вообразить их иначе, как в виде людей или существ природы чувственной. Сии образы, служившие сначала только покровом для высочайших истин, сделались впоследствии сами по себе предметом обожания и веры. Поэты и художники, не помня первоначального их смысла, умножили старые басни новыми. Аллегория, послужившая

* Опубликована в: Московский вестник. 1828. Ч. 1.

началом для всех Родов Поэзии, сделалась сама особым ее родом и в своих картинах стала изображать не только сокровенные силы естества, но и сокровеннейшие явления души человеческой. От нее впоследствии отделился частный ее вид – Басня, или Притча, в которой изображались уже не духовные и божественные, но нравственные или, лучше сказать, житейские истины.

Мы, Русские, до сих пор могли справедливо похвалиться своими баснями. Аллегории, изданные Ф.Н. Глинкою под скромным названием Опытов, суть явление новое и приятное в нашей Словесности: оно подает надежду, что мы в сем новом роде когда-нибудь сравняемся с Восточными, точно так же, как и Басни сравнились в короткое время с Европейцами, от которых ее заняли.

Предметы сих Аллегорий назидательны, возвышенны: в них изображаются высокое назначение души, тленность и суета настоящей жизни, упование на будущее, преимущества наслаждений внутренних, духовных и т. п. Автор везде одушевлен непритворным восторгом, и чувство, с каковым он часто рисует высокие истины, сообщается при чтении каждой душе, способной постигать их.

Но чем возвышеннее мысли, тем лучшей отделки должно требовать от их изображения. Говоря о красотах иносказаний господина Глинки, не можем умолчать о замеченных нами недостатках.

Аллегория представляет общую истину в чувственном образе. Из этого выводятся два правила, общие для Басни и для иносказания: т. е., чтобы автор, однажды избрав для своей мысли определенный образ, до конца был ему верен. Г-н Глинка не всегда это наблюдает, например в иносказании: Крот и Жаворонок, последний толкует о хозяйстве, о высших наслаждениях; в стихотворении «К ручью» говорится, что Ручей

И каменным скалам
Полезным хочет быть.

В обоих случаях иносказание не выдержано – т. е. чтобы избранная форма как в целом, так и в каждой из частей своих, была верным и ясным отражением главной мысли. Некоторые Аллегории г-на Глинки неверны, другие неясны, например в Двух путниках – слепой и зрячий вместе идут к морю; первый не решается, второй радостно ободряет его к переправе в новую, цветущую сторону. Слепой здесь изображает тело, зрячий – дух, море – вечность. Но дух должен бы, кажется, радостно покинуть тело на берегу тления, а не ободрять его к переходу в жизнь вечную, которая до него не касается. – В Иносказании XVI Вожатый значит воображение; но как истолковать следующие слова Автора: «он, сей животворный дух... движется по грубым жилам гранита, пролетая, как молния, недра земли и зарождая металлы». Если

разуметь под местоимением Он того же вожатого, то смысл сих слов по крайней мере темен; если разуметь что-нибудь иное, то они вовсе не у места. – В «Райском Цветке» иносказание слишком мало определяет главную мысль, и если б автор не сказал нам, что этот цветок есть сострадание, то мы столь же легко могли бы разуметь под ним надежду, веру, Поэзию и другие отрады душевные. – Многие иносказания весьма темны, в особенности «Три эпохи». При этом должно пожалеть, что Автор, последовав чужому совету (как он сам говорит в заключительном примечании), отнес объяснение их на конец книги: совершенное произведение должно объясняться из самого себя и не требовать отгадки. К числу яснейших и прекраснейших принадлежит Аллегория «Добродетель и Порок»; но и тут не знаешь, почему Автор к добродетелям причисляет красоту (стр. 50); он, вероятно, хотел выразить сим чувство прекрасного. И потом, к чему было насчитывать шесть добродетелей: веру, надежду, любовь, мудрость, силу духа и красоту? – это число можно сократить вполовину, ибо вера и сила духа, надежда и мудрость, любовь и чувство ко всему возвышенному суть одно и то же.

Слог г-на Глинки хотя иногда растянут, но правилен, почти везде благороден, исполнен новых и удачных выражений, богат картинами. Можно только заметить, что вместо слов употребительных, Автор иногда ставит мало изве-

стные и без причины, например *рассыпчатый* вместо *рассыпной*, *высветливались* вместо *начинали светлеться* или просто *проглядывали*, *облагораживает* вместо *благородствует*, *пожелание* вместо *вожделение*. В стихотворных Аллегориях стихи, большей частию белые, гладки, благозвучны, хотя и можно пожелать им более силы и сжатости в некоторых пиесах, например «К ручью».

Но все эти погрешности относятся только к исполнению, и по большей части могут быть исправлены при втором издании, более рачительном. Теперь остается нам сказать о важнейшем, именно о вымысле. – В прошлом веке, когда в Поэзии повсюду искали цели нравственной, решено, что Аллегория есть не что иное как частный пример, применимый к объяснению общей истины; что главное достоинство Аполога, следовательно, есть ясность, а до изящества нет дела. Но вскоре начали подозревать, что Аполог не только не всегда объясняет истину, – но часто облекает ее как бы в покров загадки, и более естественным, простым и общим образом изъяснили Аллегорию из врожденного всякому мыслящему существу желания – находить во внешнем мире соответствие явлениям мира внутреннего. Если это неоспоримо, то первое условие в вымысле Аполога – соответствие между общей истиной и формою: изящная мысль должна изображаться и в форме изящной, великая – в величественной. Откинув украшающие подробности от некоторых Алле-

горий г-на Глинки, спросим себя: что есть изящного в следующих вымыслах? Детей привезли из глухой стороны – они побыли немного – за ними приехали – и детей отвезли на родину (см. стр. 131). Или: жилец живет в уединенном покое, шумит, курит трубку – слышит, что в соседнюю комнату переехала знатная красавица и становится порядочным человеком (стр. 88). Между тем Автор в первом вымысле хотел изобразить скоротечность всего прекрасного, в последнем – совесть, являющуюся в душе человеческой. Он, кажется, забыл, что драгоценное вино требует и сосуда драгоценного. В прочих иносказаниях г-на Глинки удивило нас чрезвычайное однообразие и бедность изобретения. Чтобы приметить сии недостатки, стоит прочесть одни заглавия. «Невидимо-видимое», «Неосязательная утешительница», «Неузнанная», «Неведомая», «Нездешние дети»; потом «Нездешняя гостья», «Страшная гостья», «Гостья ненадолго», далее: «Отлетная птичка», «Перелетная птичка» и проч. В описаниях аллегорических существ господствует та же однообразная неопределенность: Истина (стр. 2), Совесть (стр. 11), Меланхолия (стр. 36), Надежда (стр. 98) и Жалость (стр. 107) столь бедно характеризованы, что с легкими отменами можно бы разменять между ними описанные прелести по жребию, без всякого урона для Аллегорий. – Сверх того, часто встречаются выражения: кто-то, что-то, я не видел, но чувствовал, иногда еще с пояснением: как чувствует

присутствие высоких мыслей (стр. 93) и тому подобное. Введение таких выражений в языке доказывает если не отсутствие настоящей мысли, то по крайней мере бессилие высказать оную; они мертвы для воображения читателей; но когда Автор этому чему-то приписывает еще разные свойства, как, например, производить шорох крылами, мелькать светлой тенью (?) (см. стр. 140), то он грешит не только против Поэзии, но, осмелимся сказать, против самой Логики. – Многие пьесы притом суть повторение одних и тех же мыслей, так что можно бы расставить однофамильными парами, например «Неосязаемую утешительницу» с «Минутным посещением», «Свидание в луне» с «Тайной вестию», «К душе» с «Отлетною птичкою», «Невидимую» с «Темным воспоминанием». К тому еще заметим, что предметы многих иносказаний уже не новы: к «Усладовой лире», кажется, подала повод «Эолова арфа», в «Гении» с первого взгляда узнаешь известное творение Гете, которому у нас есть подражание в «Моей башне» Жуковского. А в «Заветное зеркало» Истины кто не посмотрелся еще в прошлом столетии?

Мы назвали бедность вымыслов г-на Глинки удивительною, и в самом деле нельзя не подивиться, когда Автор во многих пиесах, как, например, в «Неузнанной», в «Картинах залива», в «Неведомой» и проч. и проч. обнаруживает богатую фантазию, которая всего блистательнее является в описаниях природы и в

сравнениях. Например, что может быть лучше сего уподобления: Счастие есть драгоценный аромат: добрый Ангел, пролетая в другой, лучший мир, пронес его когда-то мимо людей и скрылся. Толпы суетливых искателей слышат очаровательный запах, обегают землю, но нигде не находят драгоценности: небесный унес ее с собою, как принадлежность неба (стр. 59). Это сравнение говорит и сердцу, и уму, и воображению*.

Уверяясь по сему и подобным отрывкам, что замеченная нами бедность вымысла не происходит от недостатка творческого духа, мы позволим себе сделать заключение о причинах оной. Отчего в «Перемириях» Гердера, в «Притчах» Крушмахера видим такую полноту мыслей, такое богатство образов? – от того, что сии люди для изображения своих мыслей возвышенных умели пользоваться Греческими вымыслами и священными преданиями Библии. В наших веках новейших, в нашем холодном севере, человек более живет внутри себя, в мире идей высоких. Но древние, по своему климату, устройству политическому и самому идолопоклонству, жили ближе к природе, и в своих произведениях оставили нам несметное богатство изящных и верно списанных образов.

---

* Почти то же сравнение употребил Автор для любви в иносказании Добродетель и Порок (стр. 5). (*Примеч. автора.*)

Кто же более нуждается в сих образах, как не писатель «Аллегорий»? Кроме давно известного баснословия греков, новые разыскания в Восточной Индии открывают нам еще не исчерпанный или, лучше сказать, непочатый источник богатых иносказаний, равно пленительных для поэта и важных для мыслителя. Кому пользоваться сими бесценными сокровищами, как нам Россиянам, которых сама природа положила как бы звеном соединения между Западом и Востоком.

Ю. Орлицкий

«Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе» Ф. Глинки и традиция жанра «стихотворений в прозе» в русской литературе

В литературе, посвященной тургеневским «Стихотворениям в прозе», источники этого оригинального структурно-жанрового образования отыскиваются, как правило, в иноязычной традиции. При этом называются обычно имена французов Ш. Бодлера, А. Рембо и А. Бертрана, реже – А. Шопенгауэра и Дж. Леопарди.

Тем не менее в предшествующей Тургеневу русской литературе можно найти не менее выразительные миниатюрные прозаические произведения, отчетливо ориентированные на стиховую культуру. Скорее всего Тургенев был знаком с ними; однако если это и не так, национальную традицию жанра все равно необходимо учитывать. Тем более, что многие особенности рассматриваемых произведений вполне соотносимы с характерными чертами стихотворений в прозе, канонизированными тургеневским опытом.

Очевидно, что прозаические миниатюры, в той или иной степени ориентированные на стихотворную культуру, появились в русской литературе задолго до Тургенева; по крайней мере нетрудно обнаружить их, например, в творчестве Карамзина и Жуковского, на страницах первых русских литературных журналов. Если же говорить о ближайших предшественниках Тургенева, то тут следует назвать по крайней мере три произведения: во-первых, опубликованные непосредственно перед тургеневскими «Зигзагами» миниатюру Н. Станкевича «Три художника», написанную, очевидно, в самом конце 1830 – начале 1840-х годов (впервые опубликована в 1857 г.), и миниатюры из книги Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты» (1865); во-вторых, двадцать пять (!) произведений, составивших первый раздел книги Ф. Глинки «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и прозе» (1826).

По сути дела, «Три художника» – тоже аллегория; в миниатюре изображены три брата, олицетворяющих три сферы творчества: музыкант, живописец и поэт; все они творят великое искусство, дополняя и обогащая творения друг друга, но лишь поэзия способна «досказать песнь, дорисовать картину», сделать так, чтобы слились «три искусства в красоту».

Нетрудно заметить, что основная идея миниатюры перекликается с формулировками, которые Н. Станкевич дает в своей статье 1840 г. «Об отношении философии к искусству», где

предлагается определение «нового вида искусства» – «романтического», единственного, в котором «является уже истинный дух», – и дается «разделение» этого искусства: «оно является как отражение идеи в видимых образах: живопись – как идея, ощущаемая сердцем и облекающаяся в субъективное бытие, звук – музыка, как идея представляемая и мыслимая – поэзия».

Соответственно, искусство средневековое, доромантическое, по Станкевичу, состоит только из живописи и музыки (см., напр., запись в его Дневнике от 2 сентября 1837 г.). Ср. описание восприятия «романтическим» героем католической службы («пения») в храме, где находится «Воскресение» Н. Пуссена (письмо к Красову от 8 июля 1834 г.): «В церковь я ехал в дурном, прозаическом расположении духа, следовательно, в раздоре с самим собою, но картина, пение растрогали меня так хорошо, что бремя спало с души моей и я свободно мог предаться чувству прекрасного». Здесь, как и в «Трех художниках», поэзия (не проза, по определению «дурная») как высшее искусство возникает из синтеза живописи и музыки, позволяет искусствам «слиться в красоту».

Подобное синтетическое понимание поэзии как высшего искусства и как наименования всего лучшего в разных искусствах находим и у других русских романтиков, например в известной статье В. Кюхельбекера «Поэзия и проза» (1835–1836): «В стихах и поэтической

прозе, в музыке, в живописи, в ваянии, в зодчестве – поэзия все, что в них не искусство, не усилие, т. е. мысль, чувство, идеал». Миниатюру Станкевича, таким образом, тоже можно рассматривать как своеобразный манифест романтизма, только выполненный не в научно-теоретической, а в художественно-аллегорической форме.

Ф. Глинка прямо называет свои миниатюры «Аллегориями» и даже дает в конце книги их точную «расшифровку»; иногда такая расшифровка встречается и непосредственно в тексте миниатюр («То был...»). При этом в них можно заметить несколько намечающихся (и развитых затем в «Стихотворениях» Тургенева) жанровых разновидностей. С одной стороны, это собственно аллегория, объективно изображающая ту или иную ситуацию и делающая из этого изображения назидательный вывод, с другой – аллегорический сон или видение, окрашенное присутствием повествователя и его субъективными лирическими переживаниями («Я был печален, как ночь» – «Неосязательная утешительница»), «Однажды, в сумерки, когда я находился в бездейственной задумчивости между сном и бдением...» («Вожатый»). Напомним, что «сон» и «видение» часто встречаются (в том числе и в качестве заглавий и подзаголовков) в последней книге Тургенева. Похожим на тургеневский оказывается и набор «персонажей» в «Опытах» Глинки: это Смерть, Надежда, Фантазия, Нищета, Слепец, Путник.

Ф.Н. Глинка

Интересно и то, что наряду с аллегорическими, в цикл-книгу Глинки входит и чисто лирическая «Картина залива», что тоже находит свое соответствие в нарочитой жанровой разноголосице тургеневского цикла. И там и здесь активно используется диалог; и у Глинки, и у Тургенева близость к стиховой культуре подчеркивается включением в единый цикл прозаических и стихотворных произведений. Правда, в тургеневском цикле находим только одно стихотворение, а у Глинки они занимают половину книги. При этом в составе его «Опытов» есть также «Опыт поли-метра» – выполненная метрической прозой аллегория, конструктивный смысл которой внутри целого, очевидно, заключается еще и в демонстрации ритмического единства стихотворной и прозаической частей цикла. Безусловно, сближает обе книги и циклическая зависимость текстов, что затем становится законом жанра прозаической миниатюры.

С другой стороны, Глинка, в отличие от Тургенева, пользуется в своих «Опытах» традиционной, «большой» прозаической строфой, в то время как одним из главных открытий автора «Стихотворений в прозе» как раз и становится введение в оборот миниатюрной прозы малых строф двух новых типов: версейной, в которой строфа состоит из одного предложения «нормальной» прозаической длины, и специфической именно для этого жанра строфы, использующей в основном короткие предложе-

ния. Очевидно, что такая трансформация строфики, которой нет еще ни у Глинки, ни у Станкевича, свидетельствует о выработке жанром специфических черт, что возможно уже только на определенной стадии жанровой рефлексии. Например, в книге одного из прямых последователей Тургенева поэта конца XIX в. Константина Льдова использование малой, чаще всего версейной, строфы становится уже сознательным, последовательно проводимым принципом. При этом в миниатюрах Льдова, собранных в книге «Без размеров и созвучий», ориентация на аллегоричность в духе Глинки–Станкевича–Тургенева отчетливо сохраняется. Близки ему также общие романтические установки, безусловно, заложенные в минимальной прозаической форме с ее ориентацией на стиховой механизм обобщения изображаемых реалий.

Таким образом, можно, как нам представляется, говорить о более сложной и пестрой палитре источников жанра «стихотворений в прозе», не сводя их генезис к простому заимствованию; при этом одним из главных источников объективно оказывается именно книга миниатюр Ф. Глинки. Это – первая из причин нашего внимания к его «Опытам аллегорий».

Не менее интересной может стать для современного читателя активная апелляция Глинки к снам и сновидениям. Ее можно обнаружить во многих стихотворных произведениях литератора, начинавшего свой творческий

путь «на стыке» сентиментализма и романтизма, в 1810-е годы, что представляется явлением вполне закономерным, можно даже сказать – типичным. Поэтому само по себе создание Ф.Н. Глинкой в первый период творчества вполне отвечающих предромантической эстетике стихотворений «Призывание сна» (1819), «Сон» (1820), «Сельский сон» (1823), «К ночи» (1825), «Видение в луне» (1824), «Сон русского на чужбине» (1826), «Дитя, спящее во время пожара» не кажется чем-то необычным, так же как использование им жанроподобного подзаголовка «сон» в ранней прозаической миниатюре «Райский цветок».

Трудно удержаться и не процитировать здесь фрагмент из опубликованного в одном из журналов того времени анонимного сочинения «Разные соотношения земных существ», прекрасно передающего отношение к сну современников Глинки: «Для чего представления, трогающие душу во время сна, столь живы? Для чего ощущения снова возбуждаются тогда с такою силою? Откуда происходят сии прельщающие душу мечты? Не будем искать сему иной причины, кроме молчания чувств. <...> Когда совсем остановится действие чувства, происходит сон, видение, восторг. <...> Состояние души, отлученной от грубого тела, не будет ли состоянием беспрестанного сновидения, приятного для добродетельных и неприятного для злых?» (Детское чтение для сердца и разума. Ч. 17. Изд. 2. Орел, 1819. С. 216–217).

Также и для Глинки этой поры сон – своего рода высшая реальность, противостоящая «блестящему, шумному, суетливому призраку, называемому миром», как он сам пишет в предисловии к «Опытам аллегорий»; во сне герой, напротив, «полн ... святых, высоких дум» («Сон»), он видит «картины счастья и свободы, / Лимон и лавры на холмах» («К ночи»); сон зовет его «из сей обители порока, / Из-под руки железной рока» – «к сияющим звездам» и «к надзвездным высотам» («Призывание сна»). Соответственно, собственное «златое время детства» поэт помнит, «как давний сон» («Темное воспоминание», 1825).

На первый взгляд, перед нами привычная, даже расхожая романтическая оппозиция грубого реального и возвышенного сновидного миров. Однако есть ряд обстоятельств, заставляющих пристальнее присмотреться к этому противопоставлению.

Во-первых, предваряя свое известное рассуждение о задачах литератора, Глинка утверждает: «Сочинитель должен быть самовидец»; во-вторых – и это самое главное – знакомство с обширным фондом писателя, хранящимся в Государственном архиве Тверской области (ГАТО. Фонд 103. Оп. 1.), позволяет увидеть, что сны и видения играли в жизни и творчестве Федора Николаевича особую, можно даже сказать – исключительную, роль.

Около тридцати папок этого архива включают «Записи снов и видений», «Слова и

видения», «Записки видящего» и т. д. – собрания небольших по объему записей, каждая из которых представляет собой фиксацию конкретного визионерского акта (мы пользуемся случаем выразить свою признательность тверской исследовательнице Л.Л. Ерохиной, автору интереснейшей кандидатской диссертации «Творчество Ф.Н. Глинки 1830–1870-х годов» (Тверь, 2000), первый параграф которой посвящен месту «маргинальных жанров в рукописном наследии поэта», указавшей нам на эти материалы и способствовавшей началу работы с ними).

В большинстве случаев сны и видения у Глинки не разграничиваются; это может быть и «Достопримечательное сновидение», начинающееся словами: «В бытийствование мое в городе Петрозаводске видел я один примечательный сон» (ГАТО. Фонд 103. Оп. 1. Ед. хр. 1034. Л. 9), и собственно описание видения, иногда очень детальное («Я видел ряд флейт...», «Я вижу Око...», «Я вижу Господа, ходящего по небесам...»); многие из них сопровождаются также зарисовками виденного и фиксацией точной даты, а иногда и времени видения.

Очень часто в «снах и видениях» поэта встречается масонская символика. Так, поэт видит книги, наковальню, сосуд с огнем, «два рога изобилия, совокупленных сверху», развалившийся храм, «большую птицу, похожую на пеликана», «большой крест овила змея», «длинный ряд наугольников, один за другим

сцепленных (идущих вверх); на самом верху шар золотой, собственным светом сияющий». Кроме того, среди видений Глинки обнаруживаем крест, солнце, небо, море, различные группы людей, музыкальные инструменты, Христа и Богородицу, Спаса, Николая Чудотворца и т. д. Характерно, что как сами объекты видения, так и форма их описания во многом совпадают с соответствующими реалиями книги «Опыты аллегорий». Так, некоторые видения автор тут же расшифровывает, как и свои аллегории в опубликованной книге: «Я видел два мусикийских струнных инструмента, накрест сложенные. Под ними слова: "Гармония начинает уже образовываться во Вселенной, в мире и на земле"» (Ед. хр. 1034. Л. 18 об.); «Они рвались, порывались (как рыбы выплескиваются из воды) взглянуть хоть раз на высоту, сказано: "Это души, жаждущие узреть лице Божие"» (Ед. хр. 1034. Л. 18). Ср. некоторые «отгадки» «Опытов»: «Здесь изображено возмездие в будущей жизни за добродетель и терпение в здешней»; «Здесь изображено состояние души, утратившей на время ясность внутреннего чувства» и т. д. Вполне художественным можно считать и язык этих описаний: «Я видел море безбрежное, страшное, неприютное». Поскольку «сны и видения» поэт начал записывать раньше, можно с полным основанием считать их одним из источников «Опытов», а также определенной жанровой аналогией к его авторской модели прозаической миниатюры.

Сам Глинка следующим образом объясняет появление в своем творчестве этого нетрадиционного жанрового образования в предисловии к составленному им самим избранному «Слова видящего». «На *духовном горизонте* являлись *виды, образы*, иногда по три раза в день одно и то же, иногда оставались *по три дня сряду, пока их не переносили на бумагу*: тогда уже исчезали из виду и памяти видящего. Видения являлись большею частию *на молитве* и сопровождались *такою радостию*, что *видящий*, полный восхищения и сладости, чувствовал чудесное, восхитительное, – как бы переносился совсем *в иной мир*. – Казалось, на земле оставались только его одежды!!! <...> в сем извлечении порядка не означено: порядка искать не должно. Тут все смешано, но зато *совокуплено* в одно целое» (Ед. хр. 1034. Л. 1).

Религиозный характер блаженства, которое испытывает от своих видений повествователь, подчеркивается в записях неоднократно: «Будучи возвышен, я чувствовал неизъяснимое упоение и радость восхитительную. Я постигал прелесть рая. Я был весь любовь, весь благоговение. Всех врагов, всех недругов готов простить, готов обнять, облобызать. Я весь был любовь и молитва. В груди моей светлело!!!» (Ед. хр. 1034. Л. 19).

При этом некоторые видения носят не только визуальный, но и слуховой характер, для этого в них употребляется формула «Я слышал...» или «Я слышу...». Пример такого «син-

тетического» видения находим во второй тетради избранных «Слов видящего»:

«Я вижу Господа, ходящего по небесам. Он протекает теперь области средних звезд и в одной из них произносит свой суд. Ангелы повсюду летят, радуясь, во сретенье ему. Я слышу голос в небесах: "Саваоф! Саваоф! Саваоф!" Я слышу явственнее только одни гласные буквы: "ААО... ААО"» (Ед. хр. 1034. Л. 10; ср. с составленным из одних гласных стихотворением А. Крученых «Высоты», снабженным подзаголовком «вселенский язык»; по мнению современных интерпретаторов, это – огласовка «Символа веры»). Запись может даже начинаться фиксацией не видения, а звука: «Я слышал восхитительное пение в высоте и видел во множестве одетых в белые одежды» (Ед. хр. 1034. Л. 18).

Хотя Глинка и пишет, что его визионерство продолжалось недолго, проставленные им самим даты под записями свидетельствуют совершенно о другом: видения и сны сопровождали писателя на протяжении большей части его творческой биографии и являлись важным подспорьем в творчестве, особенно при создании «Опытов аллегорий» и поздней мистической поэмы «Таинственная капля».

Вообще, относительно Глинки можно говорить о целой группе «пражанров», сохранившихся в рукописном наследии писателя: наряду с «Записями снов и видений», это также фиксация спиритических сеансов, сделанная со

стенографической точностью, записи историй о беснующихся и об изгнании бесов. Все эти произведения характеризует причудливый сплав документализма (эффект которого создают также точные временные и пространственные координаты, имена реальных лиц и т. п.) и художественной формы их запечатления (например, облечение рассказа о беснующейся в стихотворную форму; тщательная «литературная обработка» речи вызываемых на сеансы исторических лиц (например, Наполеона); богатство конкретных деталей в снах и видениях).

Важное место в рукописном наследии поэта принадлежит также молитвам и конспектам духовных сочинений разных авторов и периодов, а также фантазиям на их темы; при этом большинство «вторичных» религиозных сочинений Глинки также невелико по объему и в силу этого вполне сопоставимо с его собственными снами и видениями. Так, «Жизнь и страдания библейского патриарха Ионы» в изложении поэта занимает всего один лист (Ед. хр. 1000. Л. 6–6 об.). Это сопоставление позволяет увидеть еще один из возможных источников жанровой новации поэта.

Кроме того, среди прозаических заметок Глинки важное место занимают собственно документальные описания, тоже по преимуществу небольшого размера. Например, занимающая полтора листа зарисовка «Последний день масленицы» (Ед. хр. 1000. Л. 7–8 об.); «Прогулка в окрестностях Москвы» (Ед. хр. 989. Л. 9–10);

«Описание головы Христа, исполненной гр. Толстым» (Ед. хр. 1009. Л. 28); «Описание фигуры императора Николая I» (Ед. хр. 1012. Л. 2–3). Последнее в свою очередь делится на четыре миниатюры и напоминает опубликованное Глинкой описание медалей Ф. Толстого в память войны с Наполеоном, которое автор включил в состав своей разножанровой, как и большинство его изданий, книги «Письма к другу» (1816–1817; характерно авторское заглавие произведения: «Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования...»).

При этом практически все миниатюрные прозаические произведения Глинки отличает определенный набор признаков. Так, проза Глинки (как опубликованная, так и оставшаяся в черновиках) по преимуществу бессюжетна, лишена беллетристической занимательности, подчеркнуто «документальна» даже в тех случаях, когда писатель описывает абсолютно мистические явления.

Интересно, что и большие прозаические формы (например, обе книги «Писем» – наиболее известные прозаические произведения Глинки, – а также его «Опыты аллегорий в стихах и в прозе») чаще всего распадаются на небольшие самостоятельные произведения малых жанров (письма, записки, описание медалей и т. д.), легко вычленяемые из целого текста, который в свою очередь можно, таким

образом, рассматривать как своеобразные прозаические циклы.

Важной представляется и такая черта прозы Глинки, как намеренная разножанровость, пестрота входящих в целое компонентов; в этом смысле опубликованные поэтом книги очень напоминают его черновые бумаги. Так, в первый раздел книги Ф. Глинки «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и прозе» (1826) вошло 25 миниатюр в прозе; вторую часть книги занимают 32 аллегории в стихах, а завершает том «Примечание», в котором даются «отгадки» («аллегорические значения пьес») наиболее сложных аллегорий.

Важно и то, что в большинстве своих миниатюр – и в снах, и видениях, и аллегориях, и описаниях медалей – Глинка стремится прежде всего к передаче одномоментности события и его переживания, к предельной выразительности и пластичности, что тоже сближает его миниатюрную прозу со стихами. См., например: «Я вижу Око. Я вижу его с закрытыми глазами, это Око заключено в центр треугольника, от которого, по всем трем сторонам, сверкают золотые *изломчатые* лучи. *Око* проплывает перед линиею моего зрения в воздухе; оно, *золотое*, окружено златоогненными молниями. Оно грело, как солнце, при словах: “И яви мне свет Твоего спасения!”» Ср. также характерную завершающую фразу: «Подобные изречения являлись или написанными на воздухе золотыми буквами, или в книгах, которые развертывались, или на свит-

ках, и коль скоро их записывали, они исчезали» (Ед. хр. 1043. Л. 1 об.).

Апелляция к зрительному восприятию характерна и для других произведений Глинки, в том числе и опубликованных. Так, в «Письмах к другу» он подробно описывает юбилейные медали Федора Толстого, посвященные событиям 1812 года, объединяя их в своеобразный цикл прозаических миниатюр, который оказывается своего рода словесным эквивалентом произведений изобразительного искусства. Характерно, что в записях снов и видений поэт не только подробнейшим образом фиксирует представавшие ему визуальные образы, но и нередко именует их «картинами», т. е. сопоставляет с произведениями изобразительного искусства.

В структурном отношении миниатюрные тексты Глинки нередко тяготеют к прозиметрии. Это относится и к включающим обширные стихотворные цитаты «Письмам», и к книге «Опытов», принципиальная прозиметричность которой обозначена уже в заглавии, и к текстам разных лет, снабженным развернутыми прозаическими эпиграфами и сносками: например, к его «Духовным стихотворениям». Постоянно использует писатель развернутые сноски, предисловия и примечания в прозе и в больших стихотворных формах. Например, неопубликованная поэма «Беснующий» снабжена несколькими сносками, носящими документальный характер и благодаря этому долженствующими доказать действительное суще-

ствование бесов; кроме того, к ней примыкают «Еще некоторые замечания о бесах» – восемь историй в прозе, каждая из которых представляет собой вполне самостоятельный повествовательный сюжет.

Кроме того, многие прозаические миниатюры Глинки содержат в своем составе те или иные структурные компоненты, подтверждающие их генетическую связь со стихом. Прежде всего, это метрические фрагменты, становящиеся в условиях малого текста особенно заметными. Так, в «Аллегориях» Ф. Глинки рядом с метризованным «Опытом поли-метра» достаточно часто обнаруживаются силлаботонические зачины ритмически нейтральных абзацев и фраз. Например, миниатюра «Свидания в луне» начинается ямбической цепью: «В кипящей юности моей, когда я ничего не знал еще о жизни, людях и свете, я видел жизнь и свет // в голубых глазах красавицы». Метризует Глинка и многие другие зачины и финалы: «Чувство ясной надежды и тихой любви почивает в груди человека», «Все было весело, только печалились мы», «Когда и где увидимся с тобою», «Засветлелся серебряный дым облаков», «Пока не разорвется нить небесного союза». Строкой шестистопного ямба открывается неопубликованная миниатюра Глинки «Весна (аллегорическая)»: «Она идет, она спешит, она летит...» (Ед. хр. 993. Л. 63 об.).

Названные особенности ритмического строения опубликованных прозаических про-

изведений Глинки присущи и его «Снам и видениям». Так, метрически организованные фразы без труда вычленяются в составе многих текстов. Например: «Я видел ряд флейт, *сложенных по тонам как в органе**. Эти флейты были прозрачные. *Когда сзади них засветился огонь (огонь усветляющий)*, то они все почти просветлели, только немногие *еще оставались под тенью. // Над этим рядом флейт написано* сверху: “Царствие Божие – будет царствие светлое и гармоничное”... немного флейт остается неосветленных. *И Бог уже готовится взыграть*» (Ед. хр. 1034. Л. 18).

Таким образом, можно говорить о целой системе миниатюрных, по преимуществу жанровых, образований, среди которых «записи снов и видений», вместе с близкими к ним во многих отношениях аллегориями, оказываются наиболее литературно обработанными и выступают поэтому в качестве своего рода жанрового и формального эталона. Поэтому у нас есть все основания считать Глинку одним из авторов, для которых сфера снов и видений в значительной мере является основой творчества, важнейшим источником образов, сюжетов и повествовательных стратегий, а прозаическая миниатюра – одной из структурно-жанровых форм, оптимально отвечающей требованиям литературной фиксации видений.

---

* Курсив наш: с его помощью выделены метрические фрагменты. – *Ю. О.*

Предлагаемая вашему вниманию книга в своей основной части точно воспроизводит текст издания 1826 г.; в приложения включены различные материалы из архива поэта, хранящегося в Государственном архиве Тверской области.

Источник публикации указывается после каждого текста и представляет собой номер единицы хранения в архиве поэта в ГАТО и номер цитируемого листа.

В издании сохранены некоторые наиболее выразительные черты индивидуального поэтического стиля поэта: его неологизмы, особенности авторского синтаксиса и орфографии.

Примечания

В основу настоящего издания положена первая (и единственная до сих пор полная) публикация книги Федора Николаевича Глинки «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе», выпущенная в Санкт-Петербурге в Типографии Главного Штаба в 1826 г. В недавнем сокращенном переиздании в составе книги Глинки «Письма к другу» (М., 1990), сыгравшем свою безусловную роль в популяризации творчества и личности писателя, «Опыты» воспроизведены выборочно и вне установленного автором порядка; тем более не соблюдался уникальный авторский замысел единой стихопрозаической (прозиметрической, говоря современным языком) книги в публикациях отдельных стихотворений из «Опытов» в составе стихотворных сборников Глинки.

Цель настоящего издания – воспроизвести «Опыты аллегорий» в соответствии с авторским замыслом, а также дополнить их стихотворениями и прозаическими миниатюрами, которые сам Глинка (об этом позволяют недвусмысленно судить его поме-

ты на рукописях) хотел поместить в одноименный раздел собрания своих сочинений (приложение 1).

Кроме того, мы сочли необходимым поместить в настоящий том также другие прозаические миниатюры поэта, которые сам он не предназначал для включения в книгу «Опытов», но которые тесно примыкают к ней в жанровом отношении (приложение 2). Это два больших аллегорических по своей природе рассказа поэта (приложение 3), а также имеющие самое непосредственное отношение к аллегориям «Слова видящего», в течение многих лет записывавшиеся Глинкой в специальные тетради, а затем переписанные вместе, что также свидетельствует о их предназначенности для обнародования, и оставшиеся в черновиках «Мысли» Глинки, примыкающие к афоризмам автора, вышедшим под этим же названием в составе прижизненной публикации «Писем к другу» (приложения 4 и 5).

Кроме того, в составе книги публикуется один из первых журнальных откликов на «Опыты», принадлежащий перу известного во времена Глинки критика и прозаика В. Титова.

Практически все дополнительные материалы (за исключением опубликованных при жизни Глинки прозаических аллегорических сочинений и последней рецензии) публикуются по материалам Государственного архива Тверской области с любезного согласия его руководства (ГАТО. Оп. 103–1). Мы пользуемся случаем, чтобы поблагодарить ее и сотрудников архива за неоценимую помощь в подготовке этой части тома.

Номера дел, единиц хранения и листов помещены непосредственно в тексте после их публикации.

Непонятный союз

Стр. 35 – *Иемия* – старое название Йемена
Джерид – национальное оружие курдов, род гибкого тростникового копья

Картины залива

Стр. 64 – *Верне, Клод Жозеф* (Vernet, Claude Joseph) (1714– 1789), французский живописец

Сновидение

Стр. 199 – *Козегартен Людвиг* (1758–1818) – немецкий поэт

Contents

Essays in allegorical descriptions in verse

F.N. Glinka

Essays in allegories in verse and in prose

The greater part of this book constitutes the re-edition of the undeservedly forgotten book by the same title written by Fedor Nikolaevich Glinka, an eminent Russian poet, prose writer and memoir author, who fought in the Napoleonic wars, and participated in the Decembrist movement. A.S. Pushkin thought highly of Glinka's works.

"Essays in allegories..." were published in 1826 and had never been re-issued since in full. Nevertheless, the book exerted significant influence on the development of the Russian literature and became a kind of prototype for the verse in prose genre which gained popularity largely due to the works of I.S. Turgenev.

The text of the 1826 edition is complemented with previously unpublished miniatures and poems from the State Archive of the Tver region.

For the general readership.

Глинка Ф.Н.
Г54 Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе / Сост., авт. ст. и прим. Ю.Б. Орлицкий. М.: РГГУ, 2009. 267 с.
ISBN 978-5-7281-1060-6

В основу книги положено периздание незаслуженно забытой одноименной книги выдающегося русского поэта, прозаика и мемуариста Федора Николаевича Глинки – участника наполеоновских войн и декабристского движения; его творчество высоко оценивал А.С. Пушкин.

«Опыты аллегорий...» вышли в свет в 1826 г. и с тех пор в полном объеме ни разу не переиздавались. Тем не менее эта книга оказала значительное влияние на развитие русской литературы, став своего рода прообразом жанра стихотворений в прозе, завоевавшего популярность в первую очередь благодаря сочинениям И.С. Тургенева.

Текст издания 1826 г. значительно дополнен ранее не публиковавшимися миниатюрами и стихотворениями поэта, хранящимися в фондах Государственного архива Тверской области.

Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рус=Рус)1-5

Научное издание

Глинка Федор Николаевич

ОПЫТЫ АЛЛЕГОРИЙ, ИЛИ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ ОПИСАНИЙ, В СТИХАХ И В ПРОЗЕ

Редактор
Ю.Б. Орлицкий
Художественный редактор
М.К. Гуров
Технический редактор
Г.П. Каренина
Корректор
Н.В. Егорова
Компьютерная верстка
Е.Б. Рагузина

Подписано в печать 15.12.2008.
Формат 70×100 1/32.
Усл. печ. л. 11,2.
Усл.-изд. л. 8,2.
Тираж 500 экз.
Заказ №

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 8-499-973-42-00